МЭТЬЮ ГРЕГОРИ

ЛЬЮИС

Монах

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Зарубежная классика (АСТ)

Мэтью Грегори Льюис

Монах

«Издательство АСТ»
1794

УДК 821.111-312.4
ББК 84(4Вел)-44

Льюис М.

Монах / М. Льюис — «Издательство АСТ», 1794 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-134312-5

Одно из самых интереснейших произведений англоязычной литературы конца XVIII – начала XIX вв. Мрачный, исполненный мистического ужаса роман о священнослужителе, продавшем душу дьяволу ради любви женщины – и шаг за шагом бредущем по пути, который ведет к вечному проклятию. Готический роман – во всем его трагическом великолепии, со всеми его истинно барочными литературными излишествами. Роман причудливый, притягательный, завораживающий – читающийся с неослабевающим интересом и в наши дни.

УДК 821.111-312.4
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-134312-5

© Льюис М., 1794
© Издательство АСТ, 1794

Содержание

Предисловие 6
Предварение 8
Том I 9
Глава I 9
Глава II 25
Глава III 50
Конец ознакомительного фрагмента. 60

Мэтью Г. Льюис
Монах

Somnia, terroes magicos, miracula, fagas,
Nocturnos lemures, portentaque.

Horatius [1]

© Перевод И.Г. Гурова, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020

Предисловие

Подражание Горацию (Послание 20, кн. I)

Никак, тщеславия полна,
Глядишь ты, Книга, из окна
На Патерностер знаменитый.
Известность мнишь там обрести ты,
Где авторы за славу бьются,
Но чаще с носом остаются.
Мечтаешь ты, как в позолоте
И самом лучшем переплете
В витрине выставит на свет
Тебя Стокдейл или Дебретт.

Иди ж, гордынею объята,
Туда, откуда нет возврата
Для дерзких неразумных книг!
Тебя там отругают вмиг,
Коль все-таки окажут честь
Не сразу бросить, а прочесть.
Суровым критиком избита,
На пыльной полке позабыта,
Припомнишь, мучаясь тоской,
Меня, свой ящик и покой!

Гадателя возьму я роль,
Свою судьбу узнать изволь!
Запомни же мои слова:
Чуть перестанешь быть нова,
То в темном и сыром углу
Валяться будешь на полу.
И будет червь тебя точить.
А то и в лавку, может быть,
Твои страницы попадут,
В них свечи ловко завернут.

Но коль замечена ты будешь,
Коль интерес к себе пробудишь,
Глядишь, читатель благосклонный
Займется и моей персоной.
Ответь ему, раз слушать рад,
Что я не беден, не богат,
Страстей игрушка, тороплив,
Мал ростом, очень некрасив.

Немногим нравлюсь я вполне,
Немногие по сердцу мне.
Когда люблю иль ненавижу,
Пределов никаких не вижу.

Мне неприятных не терплю,
Тех, кто понравится, люблю.

В сужденьях чересчур поспешен,
Ошибками нередко грешен.
Не предаю друзей моих,
Но сам измены жду от них.
Считать научен нашей эрой
Я дружбу чистою химерой.
Безмерно пылок, горд, упрям,
И не прощаю я врагам.
А вот за тех, кем я любим,
Пройду сквозь пламя и сквозь дым,
Коль спросят вдруг без лишних слов:
«Но возраст автора каков?»
Ты прямо говори в ответ,
Что мне сравнялось двадцать лет,
Когда у рубежа столетий
Георг сидел на троне Третий.

Что ж, Книга милая, прости!
Иди! Счастливого пути.

М.Г.Л. Гаага, 28 октября 1794 года

Предварение

Идею этого романа подсказала история Сантона Барсиса, изложенная в «Гардиан». Легенда об Окровавленной Монахине по-прежнему пользуется верой во многих частях Германии, и мне говорили, что на границе Тюрингии еще можно видеть развалины замка Лауенштейн, ее обиталища. Строфы «Водяного царя» с третьей по двенадцатую – это отрывок из подлинной датской баллады. А «Дурандарте и Белерма» – перевод, оригинал которого можно найти в сборнике старинной испанской поэзии, содержащем также народную песню о Гайферосе и Мелесиндре, упомянутую в «Дон Кихоте».

Итак, я признался во всех случаях плагиата в книге, известных мне самому. Но, полагаю, возможно, еще сыщется много таких, которые сам я пока не заметил.

Том I

Глава I

Граф Анжело и строг и безупречен,
Почти не признается он, что в жилах
Кровь у него течет и что ему
От голода приятней все же хлеб,
Чем камень.

«Мера за меру» [2]

Колокол не звонил еще и пяти минут, а церковь при капуцинском монастыре уже наполнялась прихожанами. Не обольщайтесь мыслью, будто стекались они туда, влекомые благочестием или жаждой просвещения. Лишь очень немногими руководили эти чувства, ибо в городе, где суеверие столь всевластно, как в Мадриде, тщетно искать искреннюю набожность. И богомольцев в церкви Капуцинов собрали разные причины, но только не та, которая якобы привела их в храм. Женщины явились показать себя, мужчины – поглазеть на них; некоторые любопытствовали послушать прославленного проповедника, другие не нашли иного способа скоротать время перед театральным представлением; иные поторопились, потому что их заверили, будто в церковь невозможно будет войти, а половина Мадрида поспешила туда в чаянии встретить другую половину. Искренне желали послушать проповедника лишь горстка дряхлых благочестивцев и благочестивиц да десяток его соперников на поприще духовного красноречия, заранее вознамерившихся разбранить и высмеять его поучения. Что до остальных прихожан, то, останься проповедь непроизнесенной, они ничуть не огорчились бы, а, весьма вероятно, даже не заметили бы, что лишились ее.

Но как бы то ни было, церковь Капуцинов еще никогда не видела в своих стенах столь многочисленного собрания. Ни единого свободного уголка, ни единого незанятого сиденья – пощады не было дано даже статуям, украшавшим длинные проходы. На крыльях херувимов повисли мальчишки, святой Франциск и святой Марк оба несли на плечах по зрителю, а святая Агата терпела двойную тяжесть. Вот почему две наши новоприбывшие, как ни торопились, войдя в церковь, тщетно искали взглядом свободное местечко.

Однако старшая, ничтоже сумняшеся, продолжала пробираться вперед. Напрасны были раздававшиеся со всех сторон негодующие возгласы, напрасно к ней взывали: «Уверяю вас, сеньора, тут все занято», «Прошу, сеньора, не толкайте меня так сильно!», «Сеньора, здесь невозможно пройти! И как это люди позволяют себе подобное!» – пожилая богомолка упрямо двигалась дальше. Упорство и два могучих локтя помогли ей проложить путь сквозь толпу почти к самой кафедре. Ее спутница в полном молчании робко следовала за ней, пожиная плоды усилий своей проводницы.

– Пресвятая Дева! – разочарованным тоном воскликнула та, оглядываясь по сторонам. – Пресвятая Дева! Какая духота! Какая толпа! Что бы это значило, хотела бы я знать! Пожалуй, нам придется уйти. Ни одного свободного сиденья, и никто как будто не желает уступить нам свое.

---

[2] Здесь и далее произведения Шекспира цитируются по Полному собранию сочинений. М.: Искусство, 1960. – Примеч. пер.

Этот прозрачный намек привлек внимание двух кавалеров, которые, занимая два табурета по правую руку от прохода, прислонялись спиной к седьмой колонне от кафедры. Оба были молоды и одеты пышно. Услышав женский голос, взывавший к их учтивости, они прервали беседу и посмотрели на говорившую. Она откинула покрывало, чтобы яснее рассмотреть внутренность храма. Волосы у нее были рыжие, она косила. Кавалеры отвернулись и возобновили разговор.

– О, конечно! – ответила ее спутница. – О, конечно, Леонелла, вернемся сейчас же домой. Здесь так жарко и душно! А многолюдие меня пугает.

Слова эти были сказаны удивительно мелодичным голосом. Кавалеры вновь прервали беседу, но на этот раз не удовлетворились одним только взглядом, а невольно встали и повернулись к той, что их произнесла.

Стройная изящная фигура вызвала у юношей живейшее желание увидеть лицо говорившей. Но в этом им было отказано: черты ее были скрыты под покрывалом. Однако, пока их владелица пробиралась через толпу, покрывало несколько сбилось в сторону, открыв шею, которая красотой и симметричностью могла бы поспорить с шеей Венеры Медицейской. Она поражала ослепительной белизной и вдвойне пленяла, потому что ее оттеняли золотистые локоны, ниспадавшие до талии. Неизвестная была скорее ниже, чем выше среднего роста, но легкостью и воздушностью сложения напоминала дриаду. Грудь ее была тщательно укрыта покрывалом. Белое платье, стянутое кушаком, позволяло увидеть кончик прелестнейшей ножки. С запястья свисали крупные четки, лицо же пряталось за завесой из плотного черного газа. Такова была та, кому младший из юношей уже предлагал свой табурет, а его товарищ счел необходимым оказать ту же услугу ее пожилой спутнице, которая, рассыпаясь в изъявлениях благодарности, не замедлила воспользоваться его любезностью и села.

Младшая последовала ее примеру, но в знак признательности только сделала простой и грациозный реверанс. Дон Лоренцо (так звали кавалера, уступившего ей место) встал подле нее. Но прежде он шепнул несколько слов на ухо своему другу, который тотчас попытался отвлечь внимание своей дамы от обворожительного создания, которое она опекала.

– Без сомнения, вы в Мадриде совсем недавно, – сказал дон Лоренцо прекрасной соседке. – Ведь невозможно, чтобы такие чары оставались не замеченными долго. Будь это не первый ваш выход в свет, зависть женщин и преклонение мужчин уже прославили бы вас.

Он умолк в ожидании, но, так как его речь не требовала непременного ответа, красавица не разомкнула уст, и через несколько мгновений он продолжал:

– Я ошибся, предположив, что вы лишь недавно в Мадриде?

Она заколебалась, но наконец голосом столь тихим, что его трудно было расслышать, произнесла:

– Нет, сеньор.

– Вы намереваетесь остаться в столице долгое время?

– Да, сеньор.

– Я почел бы себя счастливым, будь в моей власти сделать ваше пребывание здесь приятнее. Меня в Мадриде знают, и моя семья пользуется некоторым влиянием при дворе. Если в моих силах чем-либо услужить вам, вы не могли бы сделать мне большей чести и большего одолжения, дозволив быть вам полезным. («Уж конечно, – сказал он себе, – ответить на это она одним словом не сумеет и вынуждена будет заговорить со мной!»)

Однако Лоренцо ошибся: она ответила ему лишь легким поклоном.

Теперь он окончательно убедился, что его соседка не слишком словоохотлива, но что было причиной ее молчаливости – гордость, благоразумие, робость или глупость, решить не мог.

Спустя минуту-другую он сказал:

– Несомненно, вы остаетесь под покрывалом потому, что еще не успели узнать наши обычаи. Позвольте, я помогу вам снять его.

И он протянул руку к черному газу, но красавица подняла ладонь, чтобы помешать ему.

– Я никогда не открываю лица на людях, сеньор.

– Но что тут плохого, хотела бы я знать? – перебила ее спутница резким тоном. – Ты ведь видишь, что все дамы и девицы сняли покрывала, без сомнения, из почтения к святому месту, где мы находимся? И я сняла свое, а уж ежели я открываю лицо всем взглядам, у тебя не может быть причин для такой робости! Пресвятая Дева Мария! Сколько жеманства из-за личика. Дитя! Открой его. Поверь мне, никто его у тебя не похитит…

– Милая тетенька, в Мурсии это не в обычае.

– В Мурсии, скажите на милость! Святая Варвара, до каких же пор! Вечно ты мне напоминаешь об этой мерзкой глуши. Если таков мадридский обычай, ничего другого нам знать не надо, а потому я желаю, чтобы ты сейчас же сняла покрывало. Повинуйся мне немедля, ты знаешь, я не терплю возражений…

Племянница промолчала, но не воспротивилась, когда дон Лоренцо, вооружившись разрешением тетушки, поспешил снять с нее покрывало. Какая ангельская головка предстала его восхищенному взору! И все же она была не столько красивой, сколько обворожительной, пленяя не правильностью черт, а нежностью и прелестью выражения. Взятые по отдельности черты ее не были лишены изъянов, но сочетание их восхищало. Ее кожа, хотя и белоснежная, кое-где была тронута веснушками, глаза не отличались величиной, а ресницы – длиной. Но губы у нее были свежими и алыми, золотистые волосы, перехваченные простой лентой, ниспадали до пояса волнами пышных локонов. Изумительно красивая шея, руки и пальцы отличала безупречная гармоничность, кроткие голубые глаза таили безмятежность небес и искрящийся блеск алмазов. Ей нельзя было дать более пятнадцати лет. Игравшая на ее губах лукавая улыбка свидетельствовала о живости нрава, которую в эту минуту умеряла застенчивость. Она бросала вокруг робкие взоры и едва встречала взгляд Лоренцо, как тотчас потупляла глаза на четки и, залившись румянцем, начинала их перебирать, но, судя по ее движениям, не замечала того, что делает.

Лоренцо смотрел на нее с восхищенным изумлением, но тетушка сочла нужным извиниться за mauvaise honte [3] Антонии:

– Она еще совсем дитя и не знакома со светом и его обычаями. Росла она в Мурсии в старом замке под надзором только своей матушки, а у той, Господи, помилуй ее, ума хватает, разве чтобы ложку с супом мимо рта не пронести. А ведь добрая душа мне сестра и по отцу, и по матери.

– И столь неразумна? – спросил дон Кристобаль с притворным изумлением. – Как странно!

– Правда ваша, сеньор. Не удивительно ли? Однако так оно и есть. Но подумайте, как счастье улыбается некоторым. Молодой, весьма знатный юноша вообразил, будто Эльвира может считать себя красавицей… Ну, считать-то она считала, но вот была ли!.. Да если бы я хоть вполовину так прихорашивалась, как она… Хотя это просто к слову. А сказать я хотела, что молодой вельможа влюбился и женился на ней без ведома своего отца. Союз их сохранялся в тайне три года, но затем о нем прознал старый маркиз и, как можете догадаться, доволен не остался, но поспешил в Кордову, намереваясь схватить Эльвиру и запрятать куда-нибудь, чтобы она и вести о себе подать не могла. Святой Павел! Как он гневался, узнав, что она спаслась от него, воссоединилась с мужем и они отплыли в Индии. Он осыпал нас проклятиями, словно в него вселился Злой Дух. И бросил в темницу нашего отца, такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало, а когда уехал, то имел жестокость увезти от нас малютку

[3] Здесь: неловкость (фр.).

сына моей сестры, которого та, вынужденная к поспешному бегству, взять с собой не могла. Полагаю, бедный крошка терпел от него самое дурное обращение, потому что не прошло и нескольких месяцев, как мы получили известие о его смерти.

– Что за ужасный старик, сеньора!

– О, самый гнусный! И к тому же совершенно лишенный вкуса! Поверите ли, сеньор, когда я пыталась успокоить его, он с проклятием назвал меня ведьмой и пожелал, чтобы моя сестра в наказание графу стала такой же безобразной, как я. Безобразной, подумать только! Я ему очень признательна.

– Какая нелепость! – вскричал дон Кристобаль. – Без сомнения, граф почел бы себя счастливым, если бы ему было дозволено обменять одну сестру на другую.

– Господи помилуй! Сеньор, вы весьма учтивы. Однако я сердечно рада, что граф был иного мнения. Много радости все это принесло Эльвире! Тринадцать долгих лет жарясь и парясь в Индиях, ее супруг умирает, и она возвращается в Испанию, не имея ни дома, чтобы преклонить там главу, ни денег, чтобы купить его. Антония, вот она, была тогда еще крошкой, единственным ее ребенком, оставшимся в живых. Эльвира узнала, что ее свекор снова женился, что графа он не простил и что его вторая жена подарила ему сына, теперь, по слухам, выросшего в весьма достойного юношу. Старый маркиз не пожелал увидеть мою сестру и ее дочь, однако, поставив условие, что больше ему о ней слышать не придется, он назначил ей небольшое содержание и разрешил жить в принадлежащем ему в Мурсии старом замке. Замок этот особенно любил его старший сын, и после бегства того из Испании старый маркиз возненавидел его и оставил ветшать и разрушаться. Моя сестра согласилась, уехала в Мурсию и прожила там до прошлого месяца.

– И что же привело ее теперь в Мадрид? – осведомился дон Лоренцо, который, восхищаясь юной Антонией, с интересом слушал рассказ ее болтливой тетки.

– Увы, сеньор! Ее свекор недавно скончался, и управляющий его мурсийским имением отказался выплачивать ей содержание. И вот в надежде упросить его сына и наследника дать распоряжение, чтобы она продолжала получать эту скудную сумму, моя сестра отправилась в Мадрид. Но, полагаю, она могла бы избавить себя от хлопот. Ведь у вас, знатных молодых людей, всегда находится применение вашим деньгам, и тратить их на старух вы не очень-то склонны. Я посоветовала сестрице послать с прошением Антонию, но она и слышать об этом не желает. Такая упрямая! Ну, пренебрегая моими советами, она себе же хуже делает, – у девочки такое миленькое личико, и, надобно полагать, она многого достигла бы!

– Ах, сеньора, – перебил дон Кристобаль, напуская на себя страстный вид, – если тут достаточно миленького личика, почему же ваша сестрица не обратилась к вам?

– Святый Боже! Любезный сеньор, вы, право, смущаете меня своей галантностью. Но признаюсь, мне слишком хорошо известны опасности, сопряженные с такими поручениями, и я не позволю себе оказаться во власти знатного юноши! Нет-нет, я до сих пор храню безупречной мою добрую славу и всегда умела держать мужчин на почтительном расстоянии.

– В этом, сеньора, у меня нет ни малейших сомнений. Но разрешите спросить, питаете ли вы отвращение к супружеству?

– Ну, это простой вопрос. Не могу не признаться, что достойный кавалер, явись он…

Тут престарелая кокетка хотела бросить на дона Кристобаля нежный и выразительный взгляд, но так как, к несчастью, страдала ужасным косоглазием, взгляд этот упал на его друга, и Лоренцо, приняв комплимент на свой счет, ответил глубоким поклоном.

– Не могу ли я, – сказал он, – осведомиться об имени маркиза?

– Маркиз де лас Систернас.

– Я близко с ним знаком. Сейчас он не в Мадриде, но его ожидают со дня на день, и если прелестная Антония разрешит мне быть ходатаем за нее, не сомневаюсь, я сумею представить ее просьбу самым убедительным образом.

Антония подняла на него голубые глаза и безмолвно поблагодарила его улыбкой неизъяснимой прелести. Леонелла выразила свою радость куда более бурно и громко. Так как в ее обществе племянница обычно молчала, она считала обязательным говорить за двоих, что не слишком ее затрудняло, ибо запас слов у нее был неисчерпаемый.

– Ах, сеньор! – вскричала она. – Вся наша семья будет вам чрезвычайно обязана! Я принимаю ваше предложение со всей возможной признательностью и приношу вам тысячу благодарностей за ваше великодушное предложение. Антония, дитя, почему ты молчишь? Кавалер говорит тебе тысячи лестных вещей, а ты сидишь, будто статуя, и даже словечка благодарности не проронишь!

– Милая тетушка, я всем сердцем чувствую…

– Фи! Племянница, сколько раз я тебе твердила, что перебивать – верх неучтивости?! Ты когда-нибудь видела, чтобы я позволяла себе подобное? Это в Мурсии себя так ведут! Бог мой! Мне, видно, не удастся научить эту девочку приличным манерам! Но объясните, сеньор, – обратилась она к дону Кристобалю, – почему нынче в церкви такая теснота?

– Неужто вы не знаете, что каждый четверг Амбросио, настоятель монастыря Капуцинов, проповедует в этой церкви? Весь Мадрид гремит похвалами ему. Проповедовал он до сих пор всего трижды, но те, кто его слышал, пришли в такой восторг, что теперь найти свободное место в этой церкви в четверг не легче, чем в театре, когда дают новую комедию. Слава его не могла не достигнуть ваших ушей…

– Увы, сеньор! Впервые увидеть Мадрид я имела счастье лишь вчера, а в Кордове мы так мало знаем о том, что происходит в мире, что имя Амбросио там не упоминалось ни разу.

– В Мадриде же оно у всех на устах. Он словно заворожил здешних жителей, и сам я, не побывав еще на его проповедях, дивлюсь восторгам, которые он вызывает. Поклонение, каким его равно окружают молодые и старые, мужчины и женщины, поистине беспримерно. Гранды осыпают его подарками, их супруги желают исповедоваться только у него, и в городе его называют не иначе как «святой».

– Без сомнения, сеньор, он благородного происхождения…

– Это до сих пор остается неизвестным. Покойный аббат капуцинского монастыря нашел его у дверей несмышленым младенцем. Все усилия узнать, кто он, остались бесплодными, а ребенок, разумеется, не мог ничего рассказать о своих родителях. Его вырастили и воспитали в монастыре, стен которого он с тех пор не покидал ни разу. С ранних лет в нем проявилась сильнейшая склонность к ученым занятиям и уединению, и, едва достигнув совершеннолетия, он принял монашество. Никто так и не явился назвать его своим или раскрыть тайну его рождения, монахи же, видя, какой почет приносит обители такое объяснение, не устают повторять, что его им даровала Пресвятая Дева. И правду сказать, необычайная строгость его жизни придает правдоподобие их словам. Он достиг тридцати лет, и каждый их час прошел в благочестивых занятиях, полной удаленности от мира и умерщвлении плоти. До последних трех недель, когда его избрали настоятелем обители, он не покидал ее стен, но и теперь он выходит из монастыря лишь по четвергам и не далее этой церкви, куда послушать его стекается весь Мадрид. Знания его, говорят, чрезвычайно глубоки, красноречие на редкость убедительно. За всю свою жизнь он, насколько известно, ни в чем не нарушил устава своего ордена, ни единое пятнышко не грязнит белоснежных его риз, и, по слухам, он так строго блюдет завет целомудрия, что не знает, в чем заключено отличие мужчины от женщины. Поэтому простонародие и почитает его святым.

– Неужто этого достаточно для святости? – спросила Антония. – Но ведь тогда святой должна слыть и я!

– Святая Варвара! – вскричала Леонелла. – Что за вопрос! Фи, дитя, фи! О таких вещах молодым девицам говорить не пристало. Ты даже думать не должна, что на свете существуют

мужчины, но полагать всех людей одного пола с тобой?! Посмотрела бы я, как ты вдруг призналась бы в неведении того, что у мужчины нет груди, нет бедер, нет…

К счастью для неосведомленности Антонии, которую нотация тетушки вот-вот могла просветить, пронесшийся по церкви ропот возвестил о приходе проповедника. Донья Леонелла встала, чтобы получше его рассмотреть, и Антония последовала ее примеру.

Облик монаха был благороден и исполнен властного достоинства. Его отличал высокий рост, а лицо было необыкновенно красивым – орлиный нос, большие темные сверкающие глаза, черные, почти сходящиеся у переносья брови. Лицо было смуглым, но кожа очень чистой. Ученые занятия и долгие бдения придавали его щекам мертвенную бледность. Безмятежность овевала его гладкое, без единой морщины чело, а душевное спокойствие, которым дышали его черты, казалось, свидетельствовало, что человеку этому неведомы ни суетные заботы, ни соблазны. Он смиренно поклонился пастве, однако в его глазах и манерах чудилась суровость, внушавшая всем благоговейный страх, и мало кто мог выдержать его взор – огненный и пронзительный. Таков был Амбросио, настоятель капуцинского аббатства, прозванный святым.

Антония глядела на него как зачарованная и, внезапно ощутив в груди доселе ей неведомый приятный трепет, тщетно искала ему объяснения. С нетерпением она ждала начала проповеди, и, когда наконец монах нарушил молчание, звук его голоса словно проник ей в самую душу. Хотя никто другой в церкви не испытывал столь сильного чувства, как юная Антония, тем не менее все слушали его внимательно и растроганно. Даже те, кому религиозный жар был чужд, не оставались равнодушны к красноречию Амбросио. Говоря, он полностью подчинял их себе, и в переполненной церкви царила глубокая тишина. Даже Лоренцо не устоял перед этим обаянием и, забыв про сидящую рядом Антонию, сосредоточился на словах проповедника.

Жарким, простым и ясным языком монах превозносил блага веры. Некоторые сложные места Святого Писания он толковал с неотразимой убедительностью. Когда он обличал пороки человеческие и обрисовывал кары, ожидающие за них в мире ином, голос его, низкий и звучный, внушал ужас, как грозные раскаты бури. Всяк вспоминал свои прегрешения и содрогался, ожидая удара грома, который сокрушит его и разверзнет у его ног бездну вечной погибели.

Но когда Амбросио, оставив эту тему, заговорил о сладости чистой совести, о вечном блаженстве, уделе душ, не запятнанных грехом, о награде, ожидающей такую душу в не проходящей благодати и блеске, его слушатели ощущали, как к ним возвращаются их упования. Они с надеждой поручали себя милосердию своего Судии, с восторгом впивали утешительные слова проповедника и с гармоничными звуками его голоса переносились в те счастливые сферы, которые он живописал их воображению столь яркими и сверкающими красками.

Длилась проповедь довольно долго, но слушателям, когда она кончилась, показалось, что произошло это слишком скоро. Хотя монах умолк, в церкви продолжала царить благоговейная тишина. Но мало-помалу очарование рассеялось, и со всех сторон послышались восторженные восклицания. Едва Амбросио спустился с кафедры, как слушатели окружили его, осыпая благословениями, бросаясь к его ногам и целуя край его одеяния. Медленным шагом, благочестиво скрестив руки на груди, он направился к двери, ведшей в часовню аббатства, где его ожидала монастырская братия. Он поднялся по ступеням, а затем обернулся к своей пастве и произнес несколько слов благодарности и назидания. В этот миг большие янтарные четки выскользнули из его пальцев и упали в окружающую толпу. Их тотчас схватили и разделили между собой по шарику. И те, кому достались янтарные бусины, клялись хранить их, как святую реликвию. Принадлежи четки самому трижды блаженному святому Франциску, спор из-за них не мог бы стать более жарким. Аббат, улыбнувшись их рвению, еще благословил мирян и покинул церковь с лицом, исполненным смирения. Но было ли исполнено смирением его сердце?

Глаза Антонии провожали его с печалью, и, едва дверь за ним затворилась, ей почудилось, что она утратила нечто, без чего счастье невозможно. По ее щеке скатилась безмолвная слеза.

«Он чужд миру! – сказала она себе. – Наверно, я никогда больше его не увижу!»

Она смахнула слезы с глаз, и Лоренцо заметил это.

– Вам понравился наш проповедник? – спросил он. – Или вам кажется, что Мадрид преувеличивает его достоинства?

Сердце Антонии переполнял такой восторг перед монахом, что она с живостью воспользовалась возможностью поговорить о нем. К тому же Лоренцо более не казался ей совсем незнакомым человеком, и сильная природная застенчивость уже не так ее смущала.

– Ах! Он далеко превзошел все мои ожидания, – ответила она. – До этой минуты я ничего не знала о власти красноречия. Но едва он заговорил, как его голос преисполнил меня таким интересом, таким благоговением и даже могу сказать – такой любовью к нему, что я сама удивляюсь силе моих чувств.

Лоренцо улыбнулся бурности ее выражений.

– Вы молоды и лишь вступаете в жизнь, – сказал он. – Мир еще внове вашему сердцу, оно полно жара и чувствительности, а потому жадно воспринимает новые впечатления. Вы бесхитростны, не способны подозревать в обмане других и, взирая на мир правдивыми и невинными глазами, воображаете, будто все вокруг вас заслуживает вашего доверия и уважения. Как жаль, что эти радостные грезы скоро рассеются! Как жаль, что скоро вы неизбежно убедитесь в низости людской и будете беречься ближних, будто злейших врагов!

– Увы, сеньор! – отвечала Антония. – Злосчастья моих родителей уже открыли мне много печальных примеров людского вероломства! Однако же сейчас мои чувства не могли меня обмануть.

– Признаю, что на этот раз так оно и есть. Амбросио заслуженно называют безупречным, а к тому же человеку, всю жизнь проводящему в стенах монастыря, не выпадает случая запятнать себя грехом, даже если у него и были бы такие наклонности. Но теперь, когда новые обязанности вынуждают его соприкасаться с миром сует и подвергаться соблазнам, именно теперь ему и надлежит явить весь блеск своих добродетелей. Испытание очень опасное: ведь он как раз достиг возраста, когда страсти обретают особенную силу, необузданность и власть. Слава его святости делает его желанной добычей искушения. Новизна придает особую заманчивость наслаждениям, и даже достоинства, которыми его наделила Природа, могут способствовать его погибели, открывая легкие пути достижения цели. Мало кто выходит победителем из подобной схватки.

– О! Но, несомненно, Амбросио будет одним из немногих!

– В этом я и сам не сомневаюсь. По общим отзывам, он исключение из рода человеческого, и Зависть тщетно пыталась бы найти в его натуре хоть малый изъян.

– Сеньор, ваше заверение очень меня радует. Оно подтверждает, что в моем расположении к нему нет ничего дурного, а вы и представить себе не можете, как больно мне было бы подавить в себе это чувство. О дражайшая тетушка, попросите матушку, чтобы она избрала его нашим духовником.

– Просить ее? – сказала Леонелла. – Вот уж нет! Мне этот Амбросио совсем не понравился. У него такой суровый вид, что он вверг меня в дрожь. Стань он моим духовником, я и в половине своих грешков побоялась бы ему признаться, и что тогда со мной сталось бы? Более строгого человека я в жизни не видывала и, надеюсь, больше никогда не увижу! Описывая Дьявола, – Господи, спаси нас и помилуй! – он напугал меня до смерти, а когда упоминал про грешников, так и казалось, что он их загрызть готов!

– Вы правы, сеньора, – согласился дон Кристобаль. – Избыток строгости – вот единственное, что вменяют в вину Амбросио. Сам свободный от людских слабостей, он недостаточно

снисходителен к ним в других, и, хотя решения его справедливы и беспристрастны, он, управляя монастырем совсем недавно, уже успел показать свою непреклонность. Однако церковь почти опустела, так не разрешите ли проводить вас домой?

– Боже мой, сеньор! – вскричала Леонелла с напускным смущением. – Ни за что на свете! Если я вернусь домой в сопровождении столь галантного кавалера, моя щепетильная сестрица будет час мне выговаривать, а потом поминать про это что ни день. К тому же я предпочла бы, чтобы вы так не торопились сделать предложение…

– Предложение, сеньора? Уверяю вас…

– Ах, сеньор, я верю в искренность вашего нетерпения. Но право же, мне нужна небольшая отсрочка. Ведь было бы неделикатно, если бы я приняла вашу руку так вдруг…

– Мою руку? Клянусь жизнью…

– О дражайший сеньор, не настаивайте, если любите меня! Ваше послушание я почту за доказательство вашей страсти. Я дам вам знать завтра, а пока прощайте. Но не могу ли я, любезные кавалеры, узнать ваши имена?

– Мой друг, – ответил Лоренцо, – граф д'Оссорио, а я – Лоренцо де Медина.

– Достаточно. Ну, дон Лоренцо, я передам сестрице ваше любезное предложение и сообщу вам ее ответ со всей поспешностью. Куда я могу его послать?

– Меня всегда можно найти во дворце Медина.

– Не замедлю послать вам весточку. Прощайте, кавалеры. Сеньор граф, молю вас умерить излишний пыл вашей страсти. Но в доказательство, что вы не навлекли на себя мое неудовольствие, и не желая, чтобы вы впали в отчаяние, примите этот знак моей благосклонности и иногда вспоминайте о вашей отсутствующей Леонелле.

С этими словами она протянула тощую морщинистую руку, которую ее предполагаемый обожатель поцеловал с такой видимой неохотой и неловкостью, что Лоренцо с трудом сдержал смех. Затем Леонелла поспешила вон из церкви, прелестная Антония молча последовала за ней, но в дверях невольно обернулась и обратила взор на Лоренцо. Он поклонился, прощаясь с ней, она ответила реверансом и торопливо удалилась.

– Итак, Лоренцо, – сказал дон Кристобаль, едва они остались одни, – ты поспособствовал мне завязать чудесную интрижку! Заметив твой интерес к Антонии, я услужливо отпустил несколько пустых комплиментов тетке, и не прошло и часа, а я уже попал в женихи! Как ты вознаградишь меня за столь тяжкие страдания ради тебя? Чем отплатишь за поцелуй, который я запечатлел на костлявой лапе старой ведьмы? О дьявол! Она оставила на моих губах такой смрад, что от меня месяц будет разить чесноком. На Прадо меня примут за сбежавший омлет или перезрелую луковицу!

– Признаю, мой бедный граф, – ответил Лоренцо, – твоя услуга была сопряжена с опасностью. Однако я далек от мысли, что опасность эта так уж велика, и, вероятно, буду просить тебя продлить свое ухаживание.

– Из этой просьбы я заключаю, что малютка Антония произвела на тебя впечатление.

– Не могу выразить тебе, как я ею очарован. С тех пор как скончался отец, мой дядя герцог де Медина не раз изъявлял желание увидеть меня женатым. До сих пор я пропускал его намеки мимо ушей и делал вид, что не понимаю их. Но после того, что я увидел нынче вечером…

– Ну? Так что же ты увидел нынче вечером? Право, дон Лоренцо, не обезумел же ты настолько, чтобы возмечтать о браке с внучкой «такого честного и усердного сапожника, каких и в Кордове мало»?

– Ты забываешь, что она, кроме того, внучка покойного маркиза де лас Систернаса. Но, не вступая в спор о благородном рождении и титулах, уверяю тебя, что я никогда не видел девушки пленительнее Антонии.

– Вполне возможно. Но ведь жениться на ней ты не собираешься?

– А почему нет, милый граф? Богатства у меня хватит на нас обоих, и тебе известно, что мой дядя чужд подобных предрассудков. А насколько я знаю Раймонда де лас Систернаса, он охотно признает Антонию своей племянницей. Следовательно, ее происхождение не препятствует мне предложить ей свою руку. И я был бы злодеем, если бы помышлял о ней иначе, чем как о своей жене. Она же, мне кажется, поистине щедро наделена всеми качествами, необходимыми, чтобы составить мое счастье в супружестве. Юная, прелестная, кроткая, разумная…

– Разумная? Но ведь она не проронила ничего, кроме «да» и «нет».

– Не спорю, она, правда, сказала немногим больше… Зато «да» и «нет» она произносила всегда к месту.

– Неужели? О, я ваш покорнейший слуга! Довод истинно влюбленного, и я не смею продолжать диспут со столь искусным казуистом. А не отправиться ли нам на комедию?

– Это не в моей власти. Я приехал в Мадрид лишь вчера вечером, и у меня еще не было случая увидеться с сестрой. Ты знаешь, ее монастырь находится на этой улице, и я направлялся к ней, когда толпа у входа в эту церковь возбудила во мне любопытство и желание узнать, почему она тут собралась. Но теперь я продолжу путь и, вероятно, проведу вечер с сестрой у решетки в приемной.

– Твоя сестра в монастыре? Ах да! Я было запамятовал. И как поживает донья Агнеса? Я поражен, дон Лоренцо, как ты мог даже подумать о том, чтобы замуровать столь очаровательную девицу в стенах святой обители!

– Я, дон Кристобаль? Как мог ты заподозрить меня в подобном варварстве? Тебе известно, что она постриглась по собственному желанию, ведомы тебе и причины, подвигшие ее уйти от мира. Я употреблял все средства, бывшие в моей власти, чтобы она отступила от своего решения, но тщетно! И я лишился сестры!

– Счастливчик! По-моему, Лоренцо, благодаря этой потере ты многое приобрел. Если я не ошибаюсь, донье Агнесе в приданое предназначались десять тысяч пистолей и половина их отошла вашей милости! Клянусь святым Яго! Будь у меня пятьдесят сестер в таком же положении, я без грусти согласился бы лишиться их всех таким манером…

– Как, граф! – гневно перебил Лоренцо. – Вы полагаете, что я был настолько низок и содействовал пострижению моей сестры? Вы полагаете, что подлое желание завладеть ее деньгами могло…

– Превосходно! Смелее, дон Лоренцо! Как он пылает яростью! Дай бог, чтобы Антония смягчила этот бешеный нрав, не то и месяца не пройдет, как мы перережем друг другу глотки! Однако, дабы избежать подобного бедствия сейчас, я удаляюсь и оставлю поле брани за вами. Прощайте, рыцарь вулкана Этны! Умерьте вашу вспыльчивость и помните, что всякий раз, когда понадобится строить куры известной вам старой ведьме, я к вашим услугам!

С этими словами он бросился вон из церкви.

– Вертопрах! – пробормотал Лоренцо. – Как жаль, что при столь превосходном сердце у него нет ни капли здравого смысла!

Уже наступал вечер, но светильники еще не были зажжены, а слабые лучи восходящей луны почти не проникали в готический сумрак церкви. Лоренцо не находил в себе силы уйти оттуда. Холод, наполнивший его грудь после ухода Антонии и при воспоминании о жребии сестры, который дон Кристобаль заставил его столь живо себе представить, породил у него в душе меланхолию, с избытком гармонировавшую с окружавшим его соборным мраком. Он все еще прислонялся к колонне седьмой от кафедры. По опустевшим приделам веяла прохлада, лунные лучи лились в церковь сквозь цветные стекла, одевая своды и массивные колонны узорами, слагавшимися из тысячи различных красок и оттенков. Вокруг царила глубокая тишина, нарушаемая порой лишь отдаленным стуком дверей где-то в монастыре за стеной.

Безмолвие часа и уединенность места усугубили меланхолию Лоренцо. Он опустился на ближайшую скамью и предался игре воображения. Он думал о брачном союзе с Антонией,

он думал о препятствиях, которые может встретить на пути осуществления своего желания, и тысяча видений представала его мысленному взору, правда, печальных, но и сладостных. Незаметно он погрузился в дремоту, и владевшая им тихая грусть продолжала оказывать влияние на сонные грезы.

Он и во сне мнил себя в церкви Капуцинов, но уже не темной и не пустой. Со сводов лили яркие лучи бесчисленные серебряные светильники. Согласное пение невидимого хора сливалось с мощными звуками органа. Аналой был словно украшен для торжественного пиршества, вокруг собралось блистательное общество, а совсем близко стояла Антония в белом наряде невесты, чаруя румянцем целомудренной стыдливости.

С надеждой и боязнью взирал Лоренцо на это зрелище. Внезапно дверь, ведущая внутрь аббатства, распахнулась, и он увидел, как оттуда во главе вереницы монахов выходит проповедник, которому он недавно внимал с таким восхищением.

– Где жених? – спросил воображаемый настоятель.

Антония словно обвела церковь тревожным взглядом. Лоренцо невольно вышел из своего укромного уголка. Она увидела его, и ее ланиты одела краска радости. Пленительным жестом она поманила его, и он не ослушался, но поспешил к ней и бросился к ее ногам.

Она отступила, а потом посмотрела на него с неизъяснимым восторгом.

– Да! – вскричала она. – Мой жених! Мой суженый!

С этими словами она сделала движение, чтобы пасть в его объятия. Но прежде чем он успел прижать ее к груди, между ними возник Некто. Рост его был гигантским, лицо темным, глаза ужасали свирепостью, уста изрыгали пламя, а на челе у него было начертано: «Гордыня! Любострастье! Бесчеловечность!»

Антония испустила вопль. Чудовище схватило ее и, прыгнув с ней на аналой, принялось терзать ее гнусными ласками. Тщетно пыталась она вырваться из его рук. Лоренцо бросился к ней на помощь, но в тот же миг загрохотал гром. Храм начал разваливаться, монахи с криками ужаса обратились в бегство, светильники погасли, аналой провалился сквозь плиты пола, и в них разверзлась пламенеющая бездна. С пронзительным и жутким воем чудовище рухнуло в пропасть, стремясь увлечь с собой Антонию. Но тщетно. Со сверхъестественной силой она вырвалась из гнусных объятий, но ее белое одеяние осталось у него в лапах. И тотчас два сверкающих крыла развернулись за ее плечами. Она устремилась ввысь, обратив к Лоренцо такие слова:

– Друг! Мы встретимся в горнем мире!

В тот же миг крыша церкви раскрылась, под сводами зазвучали дивные голоса и Антония вознеслась навстречу такому всеобъемлющему сиянию, что Лоренцо был ослеплен. Глаза его перестали видеть, и он упал ничком на пол.

Пробудившись, Лоренцо обнаружил, что лежит на каменном полу церкви. Теперь она была освещена, и до него донеслись отдаленные звуки духовных песнопений. Несколько минут он не мог поверить, что все случившееся ему только привиделось, такое сильное впечатление произвел на него этот сон. Затем к нему вернулась ясность мысли, и он понял свое возбуждение – светильники были зажжены, пока он спал, а слышал он музыку и пение монахов, служащих вечерню в монастырской часовне.

Лоренцо встал, намереваясь направиться в монастырь сестры, но все еще продолжал раздумывать над своим сном. Он уже приблизился к двери, как вдруг его внимание привлекла тень, скользящая по стене напротив. Он с любопытством оглянулся и вскоре различил закутанного в плащ мужчину, который оглядывался, словно опасаясь, не следят ли за ним. Любопытство свойственно почти всем людям. Незнакомец что-то скрывал, и потому Лоренцо загорелся желанием узнать, что привело его в церковь.

Наш герой понимал, что не имеет права подсматривать за неизвестным кавалером. «Ухожу!» – сказал себе Лоренцо. И остался стоять, где стоял.

Тень колонны надежно скрывала его от незнакомца, который продолжал осторожно приближаться. Затем он вынул из-под плаща письмо и торопливо поместил его под колоссальной статуей святого Франциска, после чего быстро отступил в отдаленный придел и спрятался там.

«Ах, так! – сказал Лоренцо мысленно. – Просто глупая любовная интрижка. Что же, пожалуй, я уйду, ведь помочь я тут ничем не могу!»

Правда сказать, до этого мига ему и в голову не приходило, что он может чем-то помочь, но ему хотелось оправдаться перед собой, придумав причину, объяснявшую, что заставило его задержаться. Тут он второй раз направился к двери и без помех вышел. Однако судьба сулила ему вновь вернуться в церковь.

Он спускался по ступеням, как вдруг его толкнул какой-то взбегавший по ним кавалер, и они оба еле удержались на ногах. Лоренцо схватился за шпагу.

– Сеньор! – вскричал он. – Что означает ваша грубость?

– Ха! Медина, это ты? – ответил тот, и Лоренцо тотчас узнал голос дона Кристобаля. – Поистине ты самый счастливый смертный во вселенной, что не покинул церкви до моего возвращения. Внутрь, внутрь, мой милый! Они вот-вот будут здесь.

– Кто будет здесь?

– Старая наседка со всеми своими прелестными цыпочками! Внутрь, говорят же тебе, и тогда ты все узнаешь.

Лоренцо следом за ним вернулся в церковь, и они укрылись за статуей святого Франциска.

– Ну а теперь, – сказал наш герой, – могу ли я позволить себе смелость спросить, отчего такая спешка и восторги?

– О Лоренцо! Мы увидим такое бесподобное зрелище! Сюда грядут настоятельница обители святой Клары и все ее монашенки! Узнай, что благочестивый отец Амбросио (да воздаст ему за то Господь!) не покидает своего монастыря ни для кого и ни для чего, а так как всякая приличная обитель только его хочет видеть своим исповедником, монахиням остается лишь приходить к нему в аббатство. Ведь если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. А настоятельница монастыря святой Клары, дабы вернее избежать нечистых взглядов вроде твоих или твоего покорного слуги, водит своих овечек исповедоваться в вечернем сумраке. В часовню аббатства они войдут вон через ту дверь, закрытую для мирян. Привратница ее монастыря, весьма достойная старушка и моя добрая приятельница, только что заверила меня, что они будут тут через минуту-другую. Так вот, плутишка, мы сейчас увидим самые хорошенькие личики в Мадриде!

– Нет, Кристобаль! Мы их не увидим. Монахини всегда ходят под покрывалом.

– Ничего подобного! Ты ошибаешься: входя во храм, они снимают покрывала в знак уважения к его святому патрону. Но чу! Они приближаются. Молчи, молчи! Смотри и убедись!

«Отлично! – сказал себе Лоренцо. – Быть может, я открою, кому предназначил свои клятвы таинственный незнакомец в том приделе».

Едва дон Кристобаль умолк, как в дверь вошла настоятельница монастыря святой Клары во главе длинной вереницы монахинь. Каждая, переступив порог, снимала покрывало. Проходя мимо статуи святого Франциска, патрона этой церкви, настоятельница сложила руки на груди и низко перед ней склонилась. Монахини одна за другой повторяли ее поклон и шли дальше, а любопытство Лоренцо все еще оставалось неудовлетворенным. Он уже начинал отчаиваться, когда, склоняясь перед святым Франциском, одна из монахинь уронила четки и нагнулась их поднять. На ее лицо упал свет, и в тот же миг она ловко извлекла письмо из-под статуи, спрятала его на груди и поспешила вернуться на свое место в процессии.

– Ха! – тихим шепотом сказал Кристобаль. – Интрижка, не иначе!

– Агнеса, клянусь Небом! – воскликнул Лоренцо.

– Как! Твоя сестра? Дьявол! Полагаю, кому-то придется поплатиться за то, что мы подсмотрели тут.

– Да. И поплатиться немедленно! – ответил разгневанный брат.

Благочестивая процессия уже вошла в аббатство, и внутренняя дверь закрылась. Неизвестный тотчас вышел из своего тайного убежища и поспешил к выходу. Но тут на пути у него встал Медина. Неизвестный отступил и надвинул шляпу на глаза.

– Не пытайся укрыться от меня! – вскричал Лоренцо. – Я узнаю, кто ты такой и что было в этом письме!

– В каком письме? – повторил неизвестный. – И по какому праву вы задаете этот вопрос?

– По законнейшему. Но не тебе задавать мне вопросы. Либо подробно объясни то, что я хочу узнать, либо пусть мне ответит твоя шпага.

– Второй ответ будет короче, – воскликнул незнакомец, обнажая шпагу. – Я готов, сеньор браво! Начнем.

Пылая гневом, Лоренцо сделал выпад, и противники успели обменяться несколькими ударами, прежде чем Кристобаль, не в пример им сохранивший благоразумие, успел встать между ними.

– Остановитесь! Остановись, Медина! – вскричал он. – Вспомни кару за пролитие крови в освященном месте!

Неизвестный тотчас опустил шпагу.

– Медина? – воскликнул он. – Великий Боже, возможно ли это? Лоренцо, неужели ты забыл Раймонда де лас Систернаса?

Изумление Лоренцо возрастало с каждой секундой. Раймонд шагнул к нему, но он с подозрением во взоре отнял руку, которую тот хотел взять.

– Вы здесь, маркиз? Что все это означает? Вы ведете тайную переписку с моей сестрой, чье сердце…

– Всегда было и остается моим. Но тут не место для объяснений. Проводи меня в мой дом, и узнаешь все. Кто тут с тобой?

– Тот, кого, сдается мне, вы видели и раньше, – ответил дон Кристобаль. – Хотя навряд ли в храме Божьем.

– Граф д'Оссорио?

– Он самый, маркиз.

– Я готов открыть мою тайну и вам, ибо не сомневаюсь, что могу положиться на вашу скромность.

– Значит, вы более высокого мнения обо мне, чем я сам, и потому не стану злоупотреблять вашим доверием. Сейчас вы пойдете своей дорогой, я своей, однако, маркиз, где вас можно найти?

– Как обычно, во дворце де лас Систернас. Но помните, я здесь инкогнито, и, пожелав увидеть меня, вам следует спросить Альфонсо д'Альвараду.

– Отлично, отлично! Прощайте, кавалеры, – сказал дон Кристобаль и тотчас удалился.

– Вы, маркиз? – с удивлением произнес Лоренцо. – Вы – Альфонсо д'Альварада?

– Да, так, Лоренцо. Но раз твоя сестра еще не поведала тебе мою историю, ты услышишь много такого, что тебя поразит. А потому не мешкай, последуй со мной в мой дом.

В церковь тем временем вошел привратник, чтобы запереть ее на ночь, и молодые люди, торопливо ее покинув, поспешили во дворец де лас Систернас.

– Ну, что ты думаешь, Антония, о наших ухажерах? – осведомилась тетушка, едва они вышли из церкви. – Дон Лоренцо кажется весьма обязательным молодым человеком, и он так смотрел на тебя! Никто не знает, к чему это может привести. А что до дона Кристобаля, поверь мне, он истинный феникс галантности! Такой любезный, такой учтивый! Такой чувствитель-

ный и пылкий! Ну-ну! Если мужчине и удастся понудить меня к нарушению клятвы, то лишь этому дону Кристобалю. Видишь, племянница, все оборачивается точно, как я тебе предрекала. Я знала, что стоит мне показаться в Мадриде, и меня сразу толпой окружат воздыхатели. Когда я сняла покрывало, Антония, ты видела, как поражен был граф? А когда я протянула ему руку, ты заметила, каким страстным был его поцелуй? Если мне когда-либо доводилось видеть истинную любовь, то это она просияла в чертах дона Кристобаля!

Антония, надо сказать, заметила, с каким выражением дон Кристобаль приложил губы к указанной руке, и впечатление у нее сложилось несколько иное, чем у тетушки, но ей достало благоразумия промолчать. Это единственный известный случай, когда женщина промолчала при таких обстоятельствах, а потому он и был удостоен упоминания здесь. Старая дева продолжала разглагольствовать в том же духе, пока они не пришли на улицу, где сняли комнаты, но собравшаяся перед их домом толпа воспрепятствовала им войти в дверь. Перейдя на другую сторону улицы, они попытались выяснить причину сборища. Вскоре толпа образовала круг, и в середине его Антония узрела женщину необыкновенного роста, которая вертелась в странной пляске, необыкновенным образом размахивая руками. Платье ее было сшито из разноцветных шелковых и полотняных лоскутов чрезвычайно пестро, но не без вкуса. На голове у нее было намотано подобие тюрбана, украшенного виноградными листьями и полевыми цветами. Она выглядела необыкновенно загорелой, и цвет ее кожи был оливково-смуглым. Глаза пылали таинственным огнем, а в руке она держала длинный черный жезл, которым порой чертила на земле разнообразные непонятные фигуры, а затем опять принималась кружиться между ними, словно охваченная безумием. Внезапно она прервала пляску, трижды с неописуемой быстротой повернулась на одной ноге, а затем после краткого молчания запела следующую балладу:

Песнь цыганки

Позолотите ручку мне вы,
Мудрей меня нет на земле.
Спешите суженого, девы,
Увидеть в колдовском стекле.
По Книге Судеб я читаю,
Что было и что будет впредь,
Небес предначертанья знаю,
Луну средь черных туч веду я
И ветры шлю вперед, назад.
Дракона усыпить могу я,
Что сторожит бесценный клад.

Могучие творю заклятья,
Чтоб зло и беды отвратить.
На шабаш ведьм могу слетать я
И на змею ногой ступить.

Купите зелья! Все в их власти!
Вот это мужа в дом вернет,
А это пламя пылкой страсти
В холодном юноше зажжет.

Заблудшей деве мазь поможет —

Вернет ее потерю ей,
А притиранье сделать может
Лицо румяней и белей.

Узнайте, много вам иль мало
Судьба сулит. Пройдут года.
«Цыганка правду нагадала!» —
Вот что вы скажете тогда.

– Милая тетушка, – спросила Антония, когда необыкновенная женщина умолкла, – это помешанная? – Помешанная? Вот уж нет, дитя. Но злая и опасная. Это цыганка, бродяжка! Скитается по стране, городит небылицы и прикарманивает денежки тех, кто честно их заработал. Покончить бы с этими тварями! Будь я королем Испании, все они, кого через три недели нашли бы в моих владениях, все сгорели бы заживо. Слова эти были произнесены столь громко, что достигли ушей цыганки, и она тотчас прошла сквозь толпу к тетке и племяннице. Трижды поклонившись им по восточному обычаю, она обратилась к Антонии:

Цыганка

Ах, красавица девица,
Не тебе меня страшиться.
Без боязни руку дай
И судьбу свою узнай!

– Дражайшая тетушка! – сказала Антония. – Побалуйте меня, разрешите, пусть она мне погадает. – Вздор, дитя! Она наплетет тебе множество небылиц. – И пусть. Позвольте мне послушать, что она придумает сказать. Ну, пожалуйста, милая тетушка. Позвольте, умоляю вас! – Что же, Антония, будь по-твоему, если уж тебе так этого хочется… Эй, добрая женщина, ты погадаешь нам обеим. Вот тебе деньги, а теперь предскажи мне мою судьбу. С этими словами она сняла перчатку и протянула цыганке руку. Та некоторое время смотрела на ее ладонь, а потом сказала:

Цыганка

Судьбу? Не стану, ваша милость!
Она давно уже свершилась.
Но ваши я взяла монеты,
Примите ж вы мои советы.
Тщеславьем детским, ей-же-ей,
Вы удручаете друзей.
Кокетничать в такие лета —
Безумья верная примета.
Когда красотке пятьдесят,
Когда глаза ее косят,
То трудно прелести такой
Зажечь пожар в груди мужской.
Белила и румяна прочь —

Пристойней нищему помочь,
На сладострастья ухищренья.
Не о поклонниках с утра —
О Боге думать вам пора.
И не гадать о женихах,
Но каяться в былых грехах.
Ведь Времени коса вот-вот
Волос остатки прочь смахнет.

Речь цыганки вызывала в толпе взрывы хохота. «Пятьдесят», «глаза косят», «остатки волос», «белила и румяна» и прочее передавалось из уст в уста. Леонелла чуть не задохнулась от бешенства и осыпала свою злокозненную советчицу жесточайшими упреками. Смуглая пророчица некоторое время слушала ее с презрительной улыбкой, затем резко ей ответила и повернулась к Антонии.

Цыганка

Уймитесь, госпожа моя!
Лишь то, что есть, сказала я.
Теперь, красавица, тебе
Я о твоей скажу судьбе.

Как и Леонелла, Антония сняла перчатку и протянула цыганке лилейную ручку, а та долго вглядывалась в линии на ладони с изумлением и жалостью и произнесла затем следующее предсказание:

Цыганка

Боже, линия ужасна!
Ты добра, чиста, прекрасна.
Счастьем стать могла супруга,
И любили б вы друг друга.
Но увы! Не будет так:
Сластолюбец и с ним Ад
Гибелью тебе грозят,
Ты снести не сможешь горя
И с землей простишься вскоре.
Чтоб судьбу отсрочить злую,
Помни, что тебе скажу я.
Как увидишь добродетель,
Что сама себе свидетель,
Что соблазна не встречает,
Слабость ближних не прощает,
Тут гадалку вспомни ты.
Знай: нередко доброты,
Кротости, смиренья вид
Похоть с гордостью таит.

Я с тобой прощусь теперь
Со слезами, но поверь,
Что кручиниться не надо.
За страданья ждет награда,
И в блаженстве бесконечном
Пребывать ты будешь вечно.

Договорив, цыганка закружилась и, трижды повернувшись, с видом отчаяния убежала. Толпа последовала за ней, и Леонелла смогла войти в дом, досадуя на цыганку, на племянницу и на зевак – короче говоря, на всех, кроме себя и своего пленительного кавалера. Предсказание цыганки ввергло Антонию в трепет, однако мало-помалу впечатление это стерлось, и через несколько часов она забыла о случившемся, словно его никогда не было.

Глава II

Forse se tu gustassi una sol volta
La millesima parte delle gioje,
Che gusta un cor amato riamando,
Diresti repentita sospirando,
Perduto è tutto il tempo
Chè in amar non si spende.

Tasso [4]

Монахи проводили настоятеля до двери его кельи, где он отпустил их с видом превосходства, в котором нарочитое смирение вело борьбу с подлинной гордыней. Едва он остался один, как дал волю тщеславию. Он вспоминал бурю восторгов, которую вызвала его проповедь, и его сердце преисполнилось радости, а воображение уже рисовало великолепные картины будущего возвеличенья. Он посмотрел вокруг себя с ликованием, и гордыня сказала ему громовым голосом, что он – выше всех прочих смертных. «Кто, – думал он, – кто, кроме меня, прошел через испытания юности и ничем не запятнал свою совесть? Кто еще смирил разгул бурных страстей и неистовство нрава, чтобы на светлой заре жизни добровольно затвориться от мира? Тщетно ищу я такого человека. Ни у кого, кроме себя, не вижу подобной решимости. Церковь не может похвастать другим Амбросио! Как поразила моя проповедь мирян! Как они толпились вокруг меня, вопия, что я – единственный Столп Церкви, не тронутый порчей? Что же еще остается мне сделать? Ничего – и только с тем же строгим тщанием следить за поведением монастырской братии, как я следил за своим собственным. Но погоди! Что, если соблазн сведет меня с путей, коим до сих пор я следовал неукоснительно? Или я не человек, чья природа слаба и склонна к заблуждениям? Ведь мне придется теперь покинуть свой уединенный приют. Красивейшие и благороднейшие дамы Мадрида что ни день приезжают в аббатство и желают исповедоваться только у меня. Я должен приучить свои взоры к соблазнам и подвергнуть себя искушению роскошью и желанием. Что, если я встречу в миру, в который должен вступить, прекрасную женщину… прекрасную, как ты, Мадонна!..»

При этой мысли глаза его обратились к висевшему напротив него изображению Богоматери – уже два года образ сей был предметом его возрастающего восторга и поклонения. Несколько минут взирал он на святой лик с восхищением, а потом произнес:

– Какая несравненная красота! Как грациозен поворот головы! Какая нежность, но и какое величие в ее божественных глазах! Как изящно склоняется на руку ее щека! Способна ли роза соперничать с румянцем этой щеки? Может ли лилия сравняться белоснежностью с этой рукой? О, если бы такое создание существовало в этой юдоли и существовало лишь для меня одного! О, будь мне дано навивать на пальцы эти золотые локоны и приникать губами к сокровищам этой лилейной груди! Милостивый Боже, сумел бы я устоять перед искушением? Не променял бы за единое объятие награду за тридцатилетние муки? Не покинул бы я… Глупец! Куда позволил ты увлечь себя восхищению перед этой картиной? Прочь нечистые мысли! Я должен помнить, что эта женщина навеки потеряна для меня. Нет и не может быть смертной, столь совершенной, как этот образ. Но и явись такая, соблазн, перед которым не устоит простой смертный, окажется бессильным перед Амбросио. Соблазн, сказал я? Для меня тут не будет соблазна. Та, что чарует меня как идеал, как высшее существо, внушит мне отвра-

[4] Едва вкусив блаженство то, что делятЛюбимое и любящее сердце,Ты вздохами раскаянья докажешь,Что правду говоришь, когда ты скажешь:«Потеряны вотще часы,Что у любви я отнял».Тассо

щение, если окажется женщиной, запятнанной всеми недостатками, присущими смертным. Я восхищен искусством художника, я поклоняюсь Божественности. Или страсти не умерли в моей груди? Или я не освободился от человеческих слабостей? Не страшись, Амбросио! Черпай уверенность в силе твоей добродетельности. Смело вступи в суетный мир, ты выше его приманок! Вспомни, что теперь ты свободен от пороков рода людского, неуязвим для козней духов тьмы. Они узнают, кто ты таков!

Тут его раздумья прервали три тихих удара в дверь кельи. С трудом аббат очнулся от горячечных мыслей. Стук раздался снова.

– Кто там? – спросил наконец аббат.

– Всего лишь Росарио, – ответил кроткий голос.

– Войди! Войди, сын мой!

Дверь тотчас открылась, и вошел Росарио с корзинкой в руке.

Росарио был юным монастырским послушником и через три месяца намеревался принять постриг. Некая тайна окружала этого юношу, и он вызывал у братии немалый интерес и любопытство. Его ненависть к обществу, его глубокая меланхолия, строжайшее соблюдение всех правил ордена и добровольный отказ от мира, столь необычные в его лета, привлекли к нему внимание всех обитателей монастыря. Казалось, он боится, что его могут узнать, и никто ни разу не видел его лица. Капюшон его всегда был низко опущен. Однако те его черты, которые позволяла увидеть случайность, поражали красотой и благородством. В монастыре его знали только как Росарио. Никто не ведал, откуда он прибыл туда, а на расспросы он отвечал глубоким молчанием. Неизвестный, чьи пышные одежды и великолепный экипаж указывали на богатство и знатность, попросил монахов принять нового послушника и внес положенный вклад. На следующий день он вернулся с Росарио, но больше в монастыре его не видели.

Юноша старательно избегал общества монахов, на их добрые слова отвечал с тихой кротостью, но ясно показывал, что его влечет уединение. Из этого правила единственным исключением был настоятель. На него Росарио взирал с благоговением, близким к обожанию. Его общества он искал с настойчивостью и усердно старался снискать его расположение. В обществе аббата меланхолия, казалось, покидала его сердце, веселость проникала в его речи и поведение. Амбросио со своей стороны также испытывал приязнь к юноше. Только с ним он смягчал свою обычную суровость. Обращаясь к нему, он, сам того не замечая, менял свой строгий тон на ласковый, и ничей голос не был ему так мил. Услуги юноши он вознаграждал, наставляя его в науках. Послушник был старательным учеником, и Амбросио с каждым днем все более пленялся живостью его гения, бесхитростностью манер и чистотою сердца. Короче говоря, он полюбил его с отцовской нежностью. Иногда он невольно испытывал желание увидеть лицо своего ученика. Но запрет, наложенный им на суетные чувства, не допускал любопытства, а потому он не мог высказать юноше это желание.

– Простите, отче, что я потревожил ваш покой, – сказал Росарио, ставя корзинку на стол, – но я прихожу к вам просителем. Мне стало ведомо, что один мой друг опасно болен, и я смиренно прошу вас помолиться о его выздоровлении. Если Небеса могут внять мольбе и пока не призывать его, то, конечно, ваше ходатайство будет услышано.

– Ты знаешь, сын мой, что можешь просить меня обо всем, что в моих силах. Как зовут твоего друга?

– Винченцо делла Ронда.

– Достаточно. Я не забуду его в моих молитвах, и да услышит меня наш трижды благословенный святой Франциск! А что у тебя в корзинке, Росарио?

– Цветы, преподобный отец. Те, что, как я заметил, вам угодны. Вы дозволите мне убрать ими вашу келью?

– Твоя заботливость чарует меня, сын мой.

Пока Росарио распределял содержимое корзинки по вазочкам, которые были расставлены по всей келье, аббат продолжил разговор:

– Нынче вечером я не видел тебя в церкви, Росарио.

– Но я был там, отче. Моя благодарность за ваши милости так велика, что я не мог не стать свидетелем вашего торжества.

– Увы, Росарио, для торжества у меня нет причин: моими устами говорил наш святой, и вся заслуга принадлежит ему. Но, значит, моя проповедь не оставила тебя недовольным?

– Недовольным? Отче, вы превзошли себя! Никогда я не слышал такого пламенного красноречия… кроме одного раза.

Тут послушник вздохнул.

– Какого же? – настойчиво спросил аббат.

– Когда вы проповедовали, заменив нашего покойного настоятеля, потому что его сразил внезапный недуг.

– Я помню тот случай. Было это более двух лет назад. И ты меня слышал? Но тогда я еще не знал тебя, Росарио.

– Правда, отче. И Богом клянусь, я предпочел бы не дожить до того дня. Каких мук, какой печали я избежал бы!

– Муки в твои лета, Росарио?

– Да, отче. Муки, которые, будь они вам ведомы, пробудили бы в вас равно и гнев, и сострадание. Муки, которые стали терзанием и радостью моей жизни! Однако в этой обители моя грудь обрела бы покой, если бы не пытка опасениями! Боже! Боже! Как тяжка жизнь в вечном страхе! Отче! Я отринул все, навеки оставил свет и его радости. Не осталось ничего. И ничто не манит меня, кроме вашей дружбы, вашей приязни. Если я лишусь их, отче… Если я лишусь их, вы содрогнетесь перед силой моего отчаяния!

– Ты опасаешься потерять мою дружбу? Чем твое поведение оправдывает подобный страх? Ты должен знать меня лучше, Росарио, и считать достойным твоего доверия. В чем твои муки? Открой мне и верь, если в моей власти облегчить их…

– О, это в вашей власти, и только в вашей! Но открыть их вам я не могу. Вы отринете меня после моего признания! Вы прогоните меня с презрением и отвращением.

– Сын мой, я заклинаю тебя! Я молю тебя!

– Во имя милосердия не спрашивайте более! Я не должен… я не смею… О! Колокол звонит к вечерне! Отче, благословите, и я удалюсь!

С этими словами послушник упал на колени и получил благословение, о котором просил. Затем он прижал руку аббата к губам, поднялся и поспешно покинул келью. А вскоре и Амбросио спустился в часовню аббатства, где служили вечерню, все еще дивясь странному поведению юного послушника.

Вечерня кончилась, и монахи разошлись по своим кельям. Аббат остался в часовне один в ожидании монахинь монастыря святой Клары. Едва он опустился в кресло исповедника, как вошла настоятельница. Он выслушивал исповедь каждой монахини, пока остальные ждали под присмотром матери настоятельницы в сопредельной ризнице. Амбросио слушал со вниманием, не скупился на назидания, накладывал епитимьи, соразмерные проступкам, и все шло заведенным порядком, пока одна монахиня, отличавшаяся благородством облика и грациозностью фигуры, вдруг нечаянно не уронила скрытое на груди письмо. Она уже повернулась, чтобы выйти в ризницу, не подозревая о потере. Амбросио, полагая, что это письмо от какой-нибудь родственницы, поднял его, чтобы возвратить его ей.

– Погоди, дочь моя! – сказал он. – Ты уронила…

Но тут его взор невзначай упал на первую строку уже развернутого письма, и он вздрогнул от изумления. Монахиня обернулась на его голос, увидела записку в его руке и, вскрикнув от ужаса, поспешила назад, чтобы взять ее.

– Остановись! – произнес монах суровым тоном. – Дочь моя, я должен прочесть, что здесь написано.

– Тогда я погибла! – вскричала она, в отчаянье заламывая руки. Краска внезапно сбежала с ее лица, она трепетала в смятении и вынуждена была обвить руками колонну, чтобы не рухнуть на пол. Аббат тем временем читал следующие строки:

> «Все готово для твоего бегства, возлюбленная Агнеса. Завтра в полночь я буду ждать тебя у садовой калитки. Я раздобыл ключ, и через несколько часов ты будешь в безопасном убежище. Не отвергай из-за ошибочных угрызений верного средства спасения и своего, и невинного создания, которое ты носишь под сердцем. Помни, что ты поклялась стать моей задолго до того, как обещала себя Церкви, что вскоре твое положение станет явным для шарящих взглядов тех, кто тебя окружает, и что бегство – единственное средство избежать их злобы. До свидания, Агнеса, моя возлюбленная, суженная мне жена! Будь у садовой калитки в полночь!»

Едва дочитав, Амбросио обратил суровый, исполненный гнева взгляд на неосторожную монахиню.

– Письмо это должна увидеть настоятельница, – сказал он и направился к двери.

Его слова поразили ее слух как удар грома, она очнулась от растерянности и поняла весь ужас того, что произошло. Кинувшись за ним, она удержала его за край одежды.

– Остановитесь, о, остановитесь! – вскричала она с отчаянием и, распростершись у ног монаха, оросила их слезами. – Святой отец, имейте сострадание к моей юности. Взгляните снисходительно на женскую слабость и снизойдите скрыть мой грех! Все оставшиеся мне дни я посвящу искуплению этого единственного моего проступка, и ваше милосердие вернет Небесам заблудшую душу!

– Поразительная дерзость! Как? Монастырь святой Клары станет прибежищем распутниц? И я допущу, чтобы Церковь Христова укрыла на груди своей разврат и мерзость? Недостойная тварь! Такое милосердие сделает меня твоим сообщником. Снисходительность тут преступна. Ты предалась сластолюбию соблазнителя, в нечистоте своей ты загрязнила святое одеяние и смеешь думать, что ты достойна моего сострадания? Прочь, не дерзай долее меня задерживать! Где мать настоятельница? – добавил он, повышая голос.

– Постой, святой отец! Помедли и выслушай меня. Не упрекай меня в нечистоте и не думай, что я согрешила, поддавшись сладострастью. Задолго до того, как я постриглась, Раймонд владел моим сердцем, он внушил мне самую чистую, самую безупречную любовь и должен был стать моим мужем перед Богом и людьми. Страшный случай и гонения родственников разлучили нас. Я полагала, что разлучена с ним навеки, и горесть привела меня в стены монастыря. Судьба вновь свела нас, и я не могла отказать себе в печальной сладости смешать мои слезы с его слезами. Мы еженощно встречались в монастырском саду, и в миг забвения я нарушила обет целомудрия. И скоро должна стать матерью. Преподобный Амбросио, сжалься над невинным созданием, чье существование пока слито с моим. Если ты откроешь мою опрометчивость матери настоятельнице, мы оба обречены на гибель. Правила ордена святой Клары предписывают карать таких, как я, несчастных с величайшей суровостью и жестокостью. Достойнейший, достойнейший пастырь, да не сделает тебя твоя собственная незапятнанная совесть глухим к тем, у кого меньше сил противостоять соблазну! Да не станет милосердие единственной добродетелью, чуждой твоему сердцу! Сжалься надо мной, святой отец! Отдай мне письмо, не обрекай меня на верную погибель.

– Твоя дерзость поражает меня! Неужто я сокрою твое преступление – я, кого ты обманула лживой исповедью? Нет, дщерь, нет! Я окажу тебе подлинную услугу. Я спасу тебя от

вечной гибели вопреки тебе самой. Покаяние и умерщвление плоти искупят твой грех, и строгость вернет тебя на пути святости. Э-эй! Мать Агата!

– Отче! Всем, что свято, всем, что вам дорого, я заклинаю, я молю…

– Прочь руки! Я не стану тебя слушать. Где настоятельница? Мать Агата, где ты?

Дверь ризницы отворилась, и в часовню вступила настоятельница с монахинями.

– Жестоко! Жестоко! – вскричала Агнеса, разжимая руки.

В исступлении отчаяния она, упав на пол, била себя в грудь и в беспамятстве рвала покрывало. Монахини взирали на нее с боязливым изумлением. Аббат отдал письмо настоятельнице, объяснил, как оно попало к нему, и добавил, что решить, какой кары заслуживает виновная, должна она.

Настоятельница читала письмо, и ее лицо все больше багровело от гнева. Как! Такое преступление совершалось в ее обители и стало известно Амбросио, кумиру Мадрида, человеку, которого она особенно хотела уверить в строгости и благочестии своей обители! Слова не могли выразить ее ярость. Она молчала, бросая на распростертую монахиню злобные и угрожающие взгляды.

– Отведите ее в монастырь! – наконец приказала она своим приближенным.

Две пожилые монахини подошли к Агнесе, насильно подняли ее с пола и потащили к выходу из часовни.

– Как! – вдруг вскричала она и безумным усилием вырвалась из их рук. – Ужели нет более надежды? И вы влечете меня подвергнуть незамедлительной каре? Где ты, Раймонд? О, спаси меня, спаси! – Тут она бросила исступленный взгляд на аббата. – Слушай! – продолжала она. – Слушай, человек с каменным сердцем. Слушай, надменный, беспощадный и жестокий! Ты мог бы спасти меня, ты мог бы возвратить меня счастью и добродетели, но не пожелал! Ты погубитель моей души, ты мой убийца, и на тебя падет проклятие моей смерти и смерти моего нерожденного ребенка! Исполненный гордыни, ты в своей пока еще не запятнанной добродетели остался глух к мольбам кающейся. Но Господь явит милосердие, в котором ты мне отказал. А в чем достоинство твоей хваленой добродетели? Какие искушения ты преодолел? Трус! Ты бежал от соблазнов, а не противостоял им! Но день испытания наступит! О! И вот тогда, когда ты уступишь необоримым страстям, когда ты почувствуешь, что человек слаб и рожден заблуждаться, когда, содрогаясь, ты оглянешься на свои преступления и в ужасе будешь просить Бога о милосердии, о, в ту грозную минуту вспомни обо мне! Вспомни о своей жестокости! Вспомни Агнесу и отчайся получить прощение!

При этих последних словах силы оставили ее, и она в беспамятстве упала на руки стоявшей рядом монахини. Ее тотчас унесли из часовни, и остальные последовали за ней.

Амбросио выслушал ее упреки не с полным равнодушием. Сердце у него сжалось, и он почувствовал, что обошелся с несчастной слишком уж сурово. Поэтому он задержал настоятельницу и попробовал вступиться за виновную.

– Бурность ее отчаяния, – сказал он, – доказывает, что порок не стал для нее привычным. Быть может, обойдясь с ней не столь строго, как положено, и несколько смягчив кару…

– Смягчив, отче? – перебила настоятельница. – Только не я, поверьте! Устав нашего ордена строг и суров, но долгое время некоторые правила оставались в небрежении, и преступление Агнесы показало мне, сколь необходимо неукоснительное их соблюдение. Я возвращаюсь к себе в обитель объявить о своем намерении, и Агнеса первой почувствует, что значит нарушать эти установления, кои будут выполнены во всей полноте. Прощайте, отче.

С этими словами она поспешила вон из часовни.

«Я исполнил свой долг», – подумал Амбросио, но мысль эта не вернула ему покой души. Чтобы отвлечься от тягостного впечатления, которое все случившееся произвело на него, он вышел из часовни и повернул на дорожку, ведущую к саду аббатства. Во всем Мадриде не нашлось бы другого столь прекрасного и столь ухоженного сада. Разбит он был с изящнейшим

вкусом. Великолепные цветы ласкали взор разнообразием красок, и, хотя сажались они по тщательно обдуманному плану, казалось, будто так их расположила рука природы. Из мраморных чаш били фонтаны, охлаждая воздух танцующими брызгами, а ограду густо увили жасмин, виноград и жимолость. Красоту эту удваивал прозрачный сумрак, окутывавший сад. В безоблачном небе плыла полная луна, одевая деревья трепетным сиянием, в серебряных лучах струи фонтанов рассыпались жемчужинами. Легкий зефир овевал аллеи благоуханием цветущих померанцев, а над искусственной чащей лилась песня соловья. Туда и направил аббат свои стопы.

В глубине этой рощицы прятался незатейливый грот, подобие пещеры отшельника. Стены были оплетены древесными корнями, а просветы между ними закрывали мох и плющ. Справа и слева находились две сложенные из дерна скамьи, со скалы естественным каскадом ниспадал ручеек. Все в той же задумчивости монах приблизился к гроту. Разлитое вокруг безмятежное спокойствие утишило его волнение, а вечерняя нега проникла в самое его сердце.

Он уже собрался войти в грот и отдохнуть там, как вдруг заметил, что на одной из скамей распростерся человек в позе неизбывной меланхолии. Голову он подпирал рукой и был словно погружен в глубочайшие размышления. Монах сделал шаг к нему и узнал Росарио. Остановившись у порога, он молча смотрел на юношу. Несколько минут спустя тот поднял глаза и печально устремил их на стену напротив.

– Да! – сказал он с глубоким жалобным вздохом. – Я вижу, сколь счастлив твой жребий и сколь горестен мой! Мысли я подобно тебе, какое счастье было бы мне даровано! Когда б судьба сподобила меня глядеть на род людской с отвращением и скрыться в безлюдной глуши, забыв, что в мире есть те, кто достоин любви! О Боже! Сколь сладостным даром была бы для меня мизантропия! – Какая странная мысль, Росарио! – сказал настоятель и вошел в грот. – Вы здесь, святой отец? – вскричал послушник. И, в смятении вскочив со скамьи, торопливо опустил капюшон на лицо. Амбросио расположился на дерновой скамье и усадил юношу подле себя. – Негоже пестовать в сердце склонность к меланхолии, – сказал он. – Что могло представить тебе в столь благоприятном свете мизантропию, самое мерзкое из чувств? – Чтение вот этих стихов, отче, коих до сих пор я не замечал. Яркость лунного света позволила мне разобрать строки, и – о! – как я завидую писавшему их! И он указал на мраморную плиту, вделанную в противоположную стену. Насечены на ней были следующие строфы:

Надпись в приюте отшельника

Ты, что читаешь надпись эту,
Узнай, не совести мученья
Меня навек подвигли свету
«Прости» сказать.
И в пустыни уединенья
В тоске искать.

Мир бросил я по доброй воле:
Гордыне, злобе, плотской страсти
И знать, и чернь все боле, боле
Там преданы.
Увидел торжество я власти
Сил Сатаны.

Червем сердца там зависть гложет,

Там люди все – рабы порока,
Там лишь безумец верить может
Любви и чести.
Ждать смертного не стал я срока
Там с ними вместе.

Мне меланхолия, веселье
И все соблазны жизни прежней
Равно чужды. В подземной келье
Дни провожу,
Молясь, трудясь – и безмятежней
На мир гляжу.

Не роскошь, а покой и вера,
Иного сердце и не хочет.
Мне тесная моя пещера
Милей дворца.
Лишь об одном я дни и ночи
Молю Творца:
«Дай в чистоте мне жить безгрешно,

Страстями душу не пятная,
Над искушеньями успешно
Брать верх в борьбе.
И дай сказать мне, умирая:
Иду к Тебе!»

Коль юн ты, путник, и сомненьем
Не удручен еще, прочтешь ты
С беспечным смехом и презреньем
Мою мольбу.
Но если в горести клянешь ты
Свою судьбу,

Иль ты познал любви мученья,
Иль милости не чаешь в Небе,
Иль тяготят тебя гоненья
Судьбины злой,
О, как тебе завиден жребий
Быть должен мой!

– Если бы человек и вправду мог быть настолько поглощен собой, – сказал монах, – что жил бы в полном уединении и все же испытывал безмятежное спокойствие, коим полны эти строки, я согласился бы, что такая жизнь предпочтительнее суеты мира, полного порока и всяческих безумств. Но, увы, подобное недостижимо. Надпись эту начертали здесь просто для украшения, и чувства, ее преисполняющие, столь же воображаемы, как и сам отшельник. Человек рожден для общества. Как ни далек он от мира, он не способен совсем его забыть, а быть забытым миром для него не менее невыносимо. Исполнясь отвращения к греховности и глупости рода людского, мизантроп бежит его. Он решает стать отшельником и погребает себя

в пещере на склоне какой-нибудь мрачной горы. Пока ненависть жжет ему грудь, возможно, он находит удовлетворение в своем одиночестве, но когда страсти охладятся, когда время смягчит его печали и исцелит старые раны, думаешь ли ты, что спутницей его станет безмятежная радость? Нет, Росарио, о нет! Более не укрепляемый силой своих страстей, он начинает сознавать однообразие своего существования, и сердце его преисполняется тягостной скукой. Он смотрит вокруг себя и убеждается, что остался совсем один во вселенной. Любовь к обществу воскресает в его груди, он тоскует по миру, который покинул. Природа утрачивает в его глазах все свое очарование. Ведь ему указать на ее красоты некому, никто не разделяет с ним восхищения перед ее прелестями и разнообразием. Опустившись на обломок скалы, он созерцает водопад рассеянным взором. Он равнодушно смотрит на великолепие заходящего солнца. Вечером он медлит с возвращением в свою келью, ибо никто не ожидает его там. Одинокая невкусная трапеза не доставляет ему удовольствия. Он бросается на постель из мха унылый и расстроенный, а просыпается для того лишь, чтобы провести день, такой же безрадостный и однообразный, как предыдущий.

– Вы изумляете меня, отче! Предположим, обстоятельства обрекли бы вас на одиночество, так неужели религиозные обязанности и мысль о праведно прожитой жизни не преисполнили бы ваше сердце той безмятежностью, коей…

– Я обманывал бы себя, полагая, будто они послужили бы мне утешением. Я убежден в обратном, а также в том, что моя стойкость навряд ли уберегла бы меня от горького разочарования и меланхолии. Знал бы ты, какое удовольствие я, проведя день в занятиях, получаю, выходя вечером к братии! Я не в силах описать тебе радость, доставляемую мне видом человеческого лица! Вот в этом, мнится мне, и заключен главный смысл учреждения монастырей. Монастырь оберегает человека от соблазнов порока, дает ему досуг, необходимый для достойного служения Всевышнему, избавляет от тягостной необходимости наблюдать, как грешат поклонники суетности, и в то же время не мешает наслаждаться обществом себе подобных. А ты, Росарио, завидуешь ли ты жизни отшельника? Ужели ты слеп к преимуществам своего нынешнего положения? Поразмысли! Аббатство это стало твоим прибежищем; твое усердие, твоя кротость, твои таланты снискали тебе всеобщее уважение. Ты укрыт от мира, по твоим словам, тебе ненавистного, и тем не менее тебе доступны все блага, даримые обществом, да притом обществом, состоящим из достойнейших людей.

– Отче! Отче! В том-то и источник моих мук! Мне было бы счастьем, если бы моя жизнь влачилась среди порочных и нераскаянных! О, если бы я не знал даже слова «добродетель»! Ведь как раз мое безграничное благоговение перед религией, безмерная чувствительность моей души к красоте всего высокого и благого – как раз они преисполняют меня стыдом, влекут к погибели! О, если бы я никогда не видел этого монастыря!

– Как так, Росарио? В последнем нашем разговоре ты говорил иное. Или моя дружба утратила цену? Если бы ты никогда не видел этого монастыря, то и меня ты не увидел бы. Разве ты этого желаешь?

– Никогда не увидел бы вас? – повторил послушник, стремительно поднявшись со скамьи и с видом отчаяния схватывая руку монаха. – Вас? Вас? Клянусь Богом, лучше бы молния выжгла мои глаза до того, как они увидели вас! Клянусь Богом, лучше бы мне больше никогда вас не видеть и забыть, что я вас видел!

С этими словами Росарио выбежал из грота. Амбросио же остался сидеть на скамье, дивясь странному поведению юноши. Он был склонен заподозрить умопомешательство, однако вся его манера держаться, связность мыслей и спокойствие до мгновения, когда он покинул грот, казалось, опровергали такое заключение. Несколько минут спустя Росарио вернулся. Он вновь опустился на скамью, подпер голову одной рукой, а другой утирал слезы, стекавшие по щекам.

Монах глядел на него с состраданием и не мешал его мыслям. Некоторое время оба хранили глубокое молчание. Соловей теперь перелетел на померанец, осенявший грот, и рассыпал над ним мелодичные трели, исполненные печали. Росарио поднял голову, внимая его песне.

– Вот так, – сказал он с глубоким вздохом, – вот так моя сестра в последний месяц своей злосчастной жизни сидела и слушала соловья. Бедная Матильда! Она спит в могиле, и ее разбитое сердце уже не бьется любовью!

– У тебя была сестра?

– Вы сказали верно: была! Увы, сестры у меня больше нет. В расцвете своей весны она не снесла гнета горестей.

– Каких же?

– В вас они жалости не пробудят. Вам неведома власть тех неотразимых, тех роковых чувств, жертвой которых было ее сердце. Отче, ее несчастьем стала любовь. Обожание человека, наделенного всеми добродетелями, доступными смертному, а вернее было бы сказать – божества, стало ее проклятием. Его благородный облик, его безупречная слава, его многочисленные достоинства, его мудрость, глубокая, дивная, несравненная, могли бы воспламенить самую бесчувственную душу! Моя сестра увидела его и осмелилась полюбить, хотя не дерзала питать даже тени надежды…

– Но если она отдала любовь столь оправданно, почему же ей нельзя было надеяться на взаимность?

– Отче, до знакомства с ней Юлиан уже поклялся в верности невесте, невыразимо прекрасной, истинно небесной! И все же моя сестра полюбила и во имя мужа возлюбила и его супругу. Она сумела ускользнуть из дома нашего отца и в скромной вдовьей одежде попросила места служанки у жены того, кому отдала сердце, и ее взяли. Теперь она постоянно видела его и старалась всячески угождать ему. Ее старания не остались бесплодными. Юлиан обратил на нее внимание. Добродетельные люди умеют быть благодарными, и он отличал Матильду среди прочей прислуги.

– Но разве ваши родители не пытались ее разыскивать? Ужели они безропотно смирились со своей потерей и не тщились вернуть пропавшую дочь?

– Прежде чем они преуспели в поисках, она возвратилась сама. Любовь ее достигла такой силы, что она уже не могла ее скрывать. Однако у нее и мысли не было назвать Юлиана своим, она жаждала лишь обрести место в его сердце, и в минуту неосторожности она призналась в своем чувстве. И каков же был результат? Обожая жену, веря, что взгляд жалости, обращенный на другую, это кража того, что принадлежит ей, он прогнал Матильду и запретил ей являться ему на глаза. Его суровость разбила ей сердце, она вернулась к отцу, и несколько месяцев спустя мы отнесли ее на кладбище!

– Несчастная девушка! Судьба ее была непомерно тяжкой, а Юлиан чрезмерно жесток.

– Вы так думаете, отче? – с живостью воскликнул послушник. – Вы думаете, что он был жесток?

– Да, я так думаю и всем сердцем жалею ее.

– Вы жалеете ее? Вы жалеете ее? Ах, отче! Отче! Так сжальтесь и надо мной!

Монах недоуменно посмотрел на послушника, и тот, помолчав, запинаясь, продолжал:

– Ибо мои страдания даже сильнее, чем ее. У моей сестры была подруга, истинная подруга, сострадавшая бурности ее чувств, не упрекавшая ее за неспособность сдержать их. А у меня… у меня нет друга. Во всем широком мире не найдется сердца, чтобы разделить мою печаль!

Произнеся эти слова, он зарыдал. Монах был тронут. Он взял руку Росарио и нежно ее пожал.

– Ты говоришь, что у тебя нет друга? Но в таком случае кто же я? Почему ты не доверишься мне, чего ты страшишься? Моей строгости? Но был ли я хоть раз строг с тобой? Моих

одежд? Росарио, я не монах пока, но твой друг, твой отец. И я могу назваться так, ибо ни один родитель не оберегал свое дитя с большей нежностью, нежели я тебя. Едва тебя увидев, я ощутил в груди чувство, дотоле мне незнакомое. В твоем обществе я находил приятность, какую ничье другое мне не доставляло, а когда я убеждался в силе твоего гения и обширности знаний, то радовался, как радуется отец успехам сына. Так отбрось же страхи, говори со мной откровенно, Росарио, и скажи, что доверишься мне. Если моя помощь или жалость могут облегчить твою печаль…

– Твои могут! Только твои! Ах, отче, с какой охотой я открыл бы тебе свое сердце! С какой охотой признался бы в тайне, гнетущей меня. Но я страшусь! О, как я страшусь!

– Чего, сын мой?

– Что вы отринете меня за мою слабость, что наградой за мое доверие будет потеря ваших добрых чувств ко мне.

– Как мне тебя разуверить? Подумай о всем прошлом моем поведении с тобой, об отеческой привязанности, которую я тебе всегда выказывал. Отринуть тебя, Росарио? Это более не в моей власти. Лишиться твоего общества – значит утратить величайшее удовольствие в моей жизни. Так открой мне, что тебя гнетет, и поверь, когда я торжественно поклянусь…

– Остановитесь! – прервал послушник его речь. – Дайте клятву, что, в чем бы ни заключалась моя тайна, вы не понудите меня оставить монастырь, пока не истечет срок моего послушничества.

– Обещаю. И сдержу клятву, данную тебе, как да исполнит Христос обещанное роду человеческому. Ну, а теперь открой эту тайну и положись на мою снисходительность.

– Я повинуюсь. Так знайте же… О, как я трепещу произнести это слово! Выслушайте меня с жалостью, высокочтимый Амбросио! Отыщите в себе все еще тлеющие искорки человеческой слабости, чтобы они научили вас состраданию к моей! Отче! – продолжал он, бросаясь к ногам монаха и прижимая его руку к губам, не в силах от волнения совладать со своим голосом. – Отче, – повторил он, запинаясь, – я женщина!

Аббат вздрогнул от столь нежданного признания. Ложный Росарио лежал распростертый на земле, точно ожидая в молчании приговора судьи. Изумление одного, страх другой на несколько минут заставили их окаменеть, точно к ним прикоснулся жезл волшебника. Наконец, оправившись от замешательства, монах покинул грот и торопливым шагом направился к выходу из сада. Его движение не укрылось от молящей. Она вскочила и, поспешив за ним, обогнала и упала перед ним, обняв его колени. Амбросио тщетно пытался освободиться от ее рук.

– Не беги от меня! – вскричала она. – Не покидай меня на волю отчаяния! Выслушай оправдания моего неразумия, узнай, что история моей сестры – это моя история. Я Матильда, а ты – ее возлюбленный!

Как ни ошеломило Амбросио ее первое признание, второе поразило его даже еще больше. Потрясенный, смущенный, растерянный, он не мог выговорить ни слова и стоял, молча глядя на Матильду. Она воспользовалась этим, чтобы продолжить свои объяснения.

– Не думай, Амбросио, что я явилась отнять твою любовь у твоей невесты. Нет, поверь мне! Лишь Церковь достойна тебя, и Матильда даже помыслить не смеет о том, чтобы помешать тебе следовать путем добродетели. Чувство, которое я питаю к тебе, это любовь, а не сладострастие. Я вздыхаю о месте в твоем сердце, а не томлюсь от жажды разделить с тобой наслаждение. Снизойди выслушать мои оправдания. Несколько мгновений – и ты убедишься, что мое присутствие не осквернило это святое место и что ты можешь подарить мне свое сострадание, не нарушив свои обеты… – Она села, и Амбросио, не замечая, что делает, последовал ее примеру. Она же сказала:

– Я происхожу из знатной семьи: мой отец принадлежал к благородному дому Вильянегас. Он скончался еще в дни моего младенчества и оставил меня единственной наследницей всех своих несметных богатств. Ко мне, молодой, богатой, сватались знатнейшие юноши Мад-

рида, но ни одному из них не удалось завоевать мое сердце. Я росла под опекой дяди, человека весьма мудрого и очень ученого. Ему доставляло удовольствие приобщать меня к своим познаниям. Его наставления помогли моему уму обрести способность к большей глубине и верности суждений, чем обычно свойственно моему полу. Умение моего наставника и моя природная любознательность помогли мне значительно продвинуться не только в науках, которые изучаются всеми, но и в тех, которые доступны лишь немногим, ибо слепое суеверие осуждает их. Но, расширяя сферу моих знаний, мой опекун тщательно прививал мне нравственные понятия. Он избавил меня от оков вульгарных предрассудков, открыл мне красоту Веры, научил преклоняться перед чистыми и добродетельными, а я – горе мне! – слишком хорошо усвоила его уроки.

Так суди сам, могла ли я взирать иначе, как с отвращением, на порочность, распущенность и невежество, кои пятнают нашу испанскую молодежь. Я отвергала все предложения с пренебрежением. Мое сердце оставалось без владыки, пока случайность не привела меня в церковь Капуцинов. О, конечно, в этот день мой ангел-хранитель дремал, забыв о своей овечке. В этот день я впервые увидела тебя. Ты замещал настоятеля, которому болезнь не позволила встать с одра. Ты не можешь не вспомнить, какой живой восторг вызвала твоя проповедь. О, как впивала я каждое твое слово! Как твое красноречие словно похищало меня у меня же самой! Я боялась дышать, чтобы не упустить хотя бы слога, и пока ты говорил, мне мнился блеск дивных лучей вокруг твоей головы, а твое лицо сияло божественным величием. Я вышла из церкви в экстазе. С этой минуты ты стал кумиром моего сердца, неизменным средоточием всех моих помыслов. Я расспрашивала о тебе, и все, что узнала о твоем образе жизни, учености, благочестии и строгости к себе, заклепало цепи, наложенные на меня твоим вдохновенным красноречием. Я обнаружила, что пустота в моем сердце заполнилась, что я нашла человека, которого так долго и тщетно искала. В надежде вновь тебя услышать я каждодневно посещала вашу церковь, но ты не покидал стен аббатства, и я удалялась в тоске и разочаровании. Ночь бывала добрее ко мне, ибо ты представал предо мною в моих сновидениях. Ты клялся мне в вечной дружбе, ты вел меня по путям добродетели и помогал мне переносить жизненные невзгоды. Утро рассеивало эти сладостные видения, я просыпалась и вспоминала, что нас разделяет стена, непреодолимая стена! Но это лишь усугубляло силу моего чувства, мной все более овладевали меланхолия и уныние, я бежала общества и чахла день ото дня. Наконец, не в силах долее сносить эту пытку, я решилась надеть личину, в которой ты меня узнал. Хитрость моя удалась, меня приняли в монастырь, и мне удалось завоевать твое расположение.

И я была бы счастлива вполне, если бы не постоянный страх разоблачения. Радость, приносимую мне твоим обществом, омрачала мысль, что, быть может, я скоро буду его лишена, и сердце мое так ликовало при малейшем свидетельстве твоей дружбы, что потерю ее, как я вскоре поняла, мне было не пережить. Поэтому я решила не ждать, когда случайность откроет мой пол, но признаться тебе во всем и воззвать к твоему милосердию и снисходительности. Ах, Амбросио, ужели я обманулась? Ужели ты не столь великодушен, чем я мнила тебя? О нет, я и помыслить не могу о таком. Ты не ввергнешь несчастную в пучину отчаяния, и мне по-прежнему будет дозволено видеть тебя, беседовать с тобой, нести тебе дань преклонения! Твои добродетели останутся примером мне до конца моих дней, а когда мы скончаемся, тела наши упокоятся в одной могиле!

Она умолкла. Пока длилась ее речь, в груди Амбросио боролась тысяча противоположных чувств. Изумление, рожденное неожиданностью, смущение при внезапном ее признании, негодование из-за дерзости, с какой она проникла в монастырь в одеянии послушника, сознание, что ему надлежит дать ей суровейшую отповедь, – вот чувства, которые он сознавал. Но к ним примешивались другие, и в них он не отдавал себе отчета. Он не замечал, как льстили его тщеславию хвалы, расточавшиеся его красноречию и добродетельности; не замечал тайной радости, вызванной мыслью, что молодая и, видимо, красивая девица ради него покинула свет

и все иные свои привязанности принесла в жертву страсти к нему. И уж вовсе он не заметил, что сердце его воспламенялось желанием, когда белоснежные пальцы Матильды нежно пожимали его руку.

Мало-помалу он оправился от первого смятения. Мысли его упорядочились, и он ни на миг не усомнился, что разрешить Матильде остаться в монастыре после ее признания было бы неслыханным непотребством. Он принял строгий вид и вырвал у нее свою руку.

– Как, девица, – сказал он, – ужели ты и вправду уповаешь получить мое разрешение остаться с нами? Но даже исполни я твою просьбу, какая тебе была бы от этого польза? Не думаешь же ты, что я когда-либо отвечу взаимностью на привязанность, которая…

– Нет, отче, нет! Я и в мыслях не держу пробудить в тебе любовь, подобную моей. Я ищу только дозволения быть подле тебя, проводить несколько часов с тобой, обрести твое сострадание, дружбу, уважение. Так ли уж неразумна моя просьба?

– Подумай сама, девица! Подумай, сколь непристойно было бы мне приютить в монастыре женщину, да к тому же женщину, признавшуюся в любви ко мне. Это невозможно. Слишком велика опасность, что ты будешь изобличена, да и я не хочу подвергать себя такому грозному искушению.

– Искушению, сказал ты? Но забудь, что я женщина, и я перестану ею быть. Считай меня только другом, злополучным существом, чье счастье, чья жизнь зависят от твоего покровительства. Не страшись, что я напомню тебе сама о том, как любовь, самая властная, самая беспредельная, понудила меня скрыть мой пол, не страшись, как бы я не поддалась желаниям, несовместимым с твоими обетами и с моей честью, и не попробовала соблазном свести тебя с пути истинного. Нет, Амбросио, узнай меня лучше. Я люблю тебя за твои добродетели. Лишись их – и ты лишишься моей любви. Я вижу в тебе святого. Докажи мне, что ты лишь человек, и я с омерзением тебя оставлю. Меня ли ты считаешь искусительницей? Меня, в ком все мирские радости вызывали лишь пренебрежение? Меня, чья приязнь опирается на то, что ты свободен от человеческих слабостей? О, откинь оскорбительные опасения. Думай возвышенней обо мне, думай возвышеннее о себе. Я не способна соблазнить тебя, и уж конечно, твоя добродетельность устоит перед запретными желаниями. Амбросио, милый Амбросио, не гони меня от себя. Вспомни свое обещание и разреши мне остаться.

– Нельзя, Матильда. Но отказать тебе я должен и ради тебя самой, ибо трепещу за тебя, а не за себя. Победив пылкие желания младости, проведя тридцать лет в умерщвлении плоти и покаянии, я мог бы без опасений позволить тебе остаться, не страшась, что ты пробудишь во мне чувство более горячее, чем жалость. Но для тебя, если ты останешься в аббатстве, это может иметь лишь самые роковые последствия. Ты будешь превратно истолковывать каждое мое слово, каждый поступок. Будешь с жадностью высматривать любое обстоятельство, которое поддержит твою надежду на взаимность. Незаметно страсти возьмут верх над рассудком, и мое присутствие не только не будет их сдерживать, но, напротив, каждая минута, проводимая нами вместе, начнет возбуждать и распалять их. Поверь мне, злополучная девица, я искренне тебе сострадаю и убежден, что до сих пор тобой руководили самые чистые побуждения. Однако если ты слепа к неразумию своего поведения, то велика была бы моя вина, если бы я не открыл тебе глаза на него. Долг повелевает мне обойтись с тобой сурово. Мне надлежит отвергнуть твои мольбы и отнять даже тень надежды, которая вскармливает чувства, столь губительные для твоего покоя. Матильда, ты должна удалиться отсюда завтра же.

– Завтра, Амбросио? Завтра? О, ты не можешь этого потребовать! Ты не решишься обречь меня отчаянью! Ты не будешь столь жесток…

– Ты слышала мое решение и должна ему повиноваться. Устав нашего ордена не дозволяет тебе остаться тут. Укрывать женщину в этих стенах – значит нарушить устав, и мой обет вынудит меня поведать твою историю всей братии. Ты должна уйти отсюда. Я жалею тебя, но сделать ничего не могу.

Последние слова он произнес слабым, дрожащим голосом. Затем, поднявшись, он хотел уйти, но Матильда, испустив громкий крик, кинулась за ним и остановила его.

– Погоди еще миг, Амбросио! Дай мне сказать еще одно слово!

– Я не смею слушать! Посторонись! Ты знаешь мое решение.

– Но лишь одно слово! Одно последнее, и я кончу.

– Оставь меня. Твои просьбы напрасны! Ты должна удалиться отсюда завтра же!

– Так иди же, безжалостный варвар! Но мне еще остается одно средство!

Сказав это, она внезапно выхватила кинжал и, разодрав одеяние послушника, приставила острие к груди.

– Отче, живой я эти стены не покину!

– Остановись, Матильда! Остановись! Что ты задумала?

– Ты тверд, но и я тверда. В тот миг, когда ты оставишь меня, я вонжу эту сталь прямо в сердце.

– Святой Франциск! Матильда, в себе ли ты? Сознаешь ли ты последствия такого поступка? Помнишь ли, что самоубийство – величайшее преступление? Что ты губишь свою душу? Что отказываешься от надежды на спасение? Что обрекаешь себя на вечные муки?

– Мне все равно! Мне все равно! – ответила она страстно. – Либо в рай меня приведет твоя рука, либо моя принесет мне погибель! Амбросио, скажи мне! Скажи, что я останусь твоим другом, твоей собеседницей, или этот кинжал напьется моей крови!

И она подняла руку, словно готовясь поразить себя. Глаза монаха с ужасом следили за смертоносным движением кинжала. Он опустился на левую грудь, полуобнажившуюся, когда Матильда разорвала одеяние послушника. О, какая это была грудь! Лунный свет ложился на нее, и монах видел ее ослепительную белизну. Его взор с ненасытной жадностью впивался в эту прекрасную полусферу. Неведомое дотоле чувство преисполняло его сердце тревогой и восторгом. Жгучий огонь пробегал по всем членам, кровь закипала в жилах, тысяча необузданных желаний воспламеняла его воображение.

– Остановись! – вскричал он торопливо, запинающимся голосом. – Я не могу доле противиться! Так оставайся, чародейка! Оставайся на мою погибель!

С этими словами он покинул сад и скрылся в дверях монастыря. У себя в келье он бросился на постель, растерянный, ошеломленный, в глубоком смятении.

Долгое время ему не удавалось собраться с мыслями. Случившееся возбудило в его груди столько разнообразных чувств, что он не мог понять, какое преобладало. Он не знал, как вести себя с нарушительницей его покоя. Он понимал, что осмотрительность, религия и приличия требуют, чтобы она покинула монастырь. Но, с другой стороны, столь властные причины требовали не изгонять ее, что он был более чем склонен разрешить ей остаться. Ему не могло не польстить признание Матильды, как и сознание, что он, сам того не зная, покорил сердце, устоявшее перед атаками самых благородных кавалеров Испании. Приятен его тщеславию был и способ, которым он завоевал ее любовь. Он вспомнил многие счастливые часы, проведенные в обществе Росарио, и страшился пустоты в сердце, неминуемо ожидающей его в разлуке. Вдобавок ко всему он припомнил, что Матильда богата и ее расположение могло оказаться весьма полезным монастырю.

– И чем я рискую, позволив ей остаться? – сказал он себе. – Разве я не могу без сомнений положиться на ее заверения? Разве мне так трудно забыть ее пол и по-прежнему видеть в ней друга и ученика? Конечно же, ее любовь чиста, как она утверждает. Будь это лишь сладострастие, ужели она так долго его таила бы? Ужели не прибегла бы к какому-либо средству найти ему удовлетворение? А она поступала прямо наоборот: пыталась скрыть от меня свой пол, и открыть тайну ее принудили лишь страх разоблачения и мои настояния. Она соблюдала все религиозные обряды с не меньшей строгостью, чем я. Она и не пыталась пробудить дремлющие во мне страсти и до этого вечера никогда не заговаривала со мной о любви. Будь ее целью

снискать мою нежность, а не уважение, она не стала бы так тщательно таить от меня свои прелести. Я до сих пор не видел ее лица, а оно должно быть прекрасно, ведь она, несомненно, красавица, если судить по ее… по тому, что я увидел.

Когда у него промелькнула эта мысль, его щеки залил жаркий румянец стыда. Испугавшись чувств, которым он поддался, Амбросио обратился к молитве. Встав с постели, он опустился на колени перед красавицей Мадонной и умолял ее помочь ему избавиться от столь грешных чувств. Потом он снова лег и предался сну.

Он проснулся весь в жару и не освеженный. Во сне воображение являло ему лишь самые сладострастные предметы. В сновидениях перед ним стояла Матильда, и его глаза вновь созерцали ее обнаженную грудь. Она повторила свои заверения в вечной любви, обвила руками его шею и осыпала поцелуями. Он отвечал на них, он пылко прижал ее к своему сердцу, и… и сновидение рассеялось. Иногда ему чудилось изображение его Мадонны – будто он стоит перед ним на коленях и произносит обеты, а глаза картины словно излучают невыразимую нежность. Он прижал губы к нарисованным губам, и они оказались теплыми. Ожившая фигура сошла с холста, с любовью открыла ему объятия, и его чувства не вынесли столь несравненного блаженства. Вот на каких сценах сосредоточивались его сонные мысли. Неудовлетворенные желания рисовали ему самые сладострастные и соблазнительные образы, он буйно наслаждался радостями, дотоле ему неведомыми.

С постели он поднялся полный смятения от воспоминаний о своих сонных грезах, и стыд его усугубился, едва он задумался о причинах, побудивших его накануне ночью дать Матильде разрешение остаться. Он содрогнулся, узрев свои доводы в истинном свете, и обнаружил, что стал рабом лести, алчности и себялюбия. Если всего за час Матильда сумела вызвать такую разительную перемену в его чувствах, так какие же опасности будут подстерегать его, если она останется в аббатстве? Зная теперь, что ему угрожает, очнувшись от дурмана доверчивости, он решил настоять на ее немедленном отъезде. У него возникали подозрения, что искушение может оказаться слишком сильным. Пусть Матильда ни в чем не преступит пределы целомудрия, но устоит ли он под натиском тех страстей, от которых самонадеянно считал себя свободным?

– Агнеса! Агнеса! – воскликнул монах, размышляя над своим тяжким положением. – Твое проклятие уже сбывается!

Он покинул келью с твердым намерением отослать лжеРосарио и направился в часовню к заутрене. Однако мысли его были далеко, и службу он отстоял в рассеянии. Сердце и голова у него равно были заняты суетными предметами, и молитвам его недоставало истинного благочестия. Затем он спустился в сад и поспешил к тому месту, где накануне сделал это тягостное открытие. Он не сомневался, что Матильда будет искать его там, и оказался прав. Вскоре она вошла в грот и боязливо приблизилась к нему. Несколько мгновений оба молчали, а потом она, казалось, хотела робко заговорить, однако аббат, собрав всю свою решимость, перебил ее. Он опасался чар ее мелодичного голоса, хотя еще не испытал всю их силу.

– Сядь подле меня, Матильда, – сказал он с твердостью на лице, хотя старательно избегал даже намека на суровость. – Выслушай меня терпеливо и поверь, говорю я это столько же ради тебя, сколько ради себя. Поверь, я питаю к тебе теплейшую дружбу, истиннейшее сострадание, и горесть моя не уступит твоей, когда я скажу, что больше мы не должны видеться. Никогда.

– Амбросио! – вскричала она голосом, полным и удивления, и печали.

– Успокойся, мой друг, мой Росарио! Разреши мне все еще называть тебя этим именем, столь дорогим мне. Наша разлука неизбежна. Я краснею, признаваясь, как чувствительно она меня ранит. Но тем не менее другого быть не может. Я чувствую, что не способен обходиться с тобой равнодушно, и это убеждение как раз и заставляет меня настаивать, чтобы ты удалилась из монастыря. Матильда, ты не должна здесь больше оставаться.

– О! Где же теперь искать мне чистоты духа? Отвратясь от коварного мира, в каких счастливых пределах прячется теперь Истина? Отче, я уповала обрести ее здесь, я думала, что твоя грудь – ее избранное святилище. Но и ты оказался обманщиком? О Боже! И ты тоже можешь предать меня?

– Матильда!

– Нет, отче, нет! Упреки мои справедливы. О! Где твои обещания? Срок моего послушания еще не кончился, и все же ты вынуждаешь меня покинуть монастырь? У тебя достанет сердца прогнать меня от себя? Но разве ты не дал мне торжественную клятву, утверждающую обратное?

– Я не стану вынуждать тебя покинуть монастырь. Я дал тебе клятву, утверждающую обратное. Но когда я взываю к твоему великодушию, когда я объясняю тебе тягостное положение, в которое ставит меня твое присутствие здесь, ужели ты не освободишь меня от этой клятвы? Подумай об опасности, что правда откроется, о негодовании и осуждении, которое это навлечет на меня. Вспомни, что речь идет о моей чести и доброй славе, что мой душевный мир зависит от твоего согласия. Пока мое сердце свободно. Я расстанусь с тобой, сожалея, но без отчаяния. Останься здесь, и несколько недель принесут мое счастье в жертву на алтаре твоих чар. Ты ведь так привлекательна, так хороша! Я полюблю тебя! Буду обожать! Грудь мне будут раздирать желания, которым честь и мой сан не дозволяют уступить. Но если я буду им противиться, их сила сведет меня с ума, а если я уступлю соблазну, то принесу в жертву мгновению грешного наслаждения свою добрую славу в этом мире и спасение в том. И я прибегаю к тебе, ища защиты от себя самого. Помешай мне потерять награду за тридцать лет страданий! Помешай мне стать жертвой угрызений нечистой совести! Твое сердце уже познало муку безнадежной любви. О! Если я правда тебе дорог, спаси мое сердце от такой же муки. Верни мне мое обещание! Покинь эти стены! Беги – и ты унесешь с собой теплейшие мои молитвы о твоем счастье, мою дружбу, мое уважение и восхищение. Останься – и ты превратишься для меня в источник опасности, страданий, несчастья! Отвечай же, Матильда, что ты решила?

Она молчала.

– Ты не хочешь говорить, Матильда! Ты не скажешь, что ты выбираешь?

– Жестокий! Жестокий! – вскричала она, в агонии ломая руки. – Ты знаешь, что не оставил мне выбора! Ты знаешь, что у меня нет воли, кроме твоей!

– Значит, я не обманулся? Благородство Матильды равно моим ожиданиям!

– Да. Я докажу истинность моей любви, подчинившись приговору, который поражает меня в самое сердце. Я возвращаю тебе твое обещание и сегодня же покину монастырь. У меня есть родственница – аббатиса монастыря в Эстремадуре. К ней направлюсь я и навеки затворюсь от мира. Но ответь мне, отче, унесу ли я в мое заточение твои добрые пожелания? Будешь ли ты порой отрываться от размышления о божественном и уделять мне мысль-другую?

– Ах, Матильда! Боюсь, я буду думать о тебе слишком часто для моего душевного покоя!

– Тогда мне больше нечего желать, кроме одного: чтобы мы могли встретиться на Небесах. Прощай, мой друг! Мой Амбросио!.. Нет, мне все же хотелось бы унести с собой какой-нибудь знак твоего расположения!

– Но что мне дать тебе?

– Что-нибудь… что угодно. Одного цветка с этого куста будет довольно! – Тут она указала на розовый куст, посаженный возле входа в грот. – Я спрячу его у себя на груди, и, когда умру, монахини найдут его увядшим на моем сердце.

Монах был не в силах ответить. Душа его исполнилась горести, и, медленно ступая, он вышел из грота, приблизился к кусту и наклонился сорвать розу. Внезапно он испустил пронзительный вопль, отшатнулся и уронил сорванный цветок. Услышав крик, Матильда в тревоге поспешила к нему.

– Что случилось? – воскликнула она. – Ради бога, ответь! Что с тобой?

– Я встретил мою смерть! – ответил он слабеющим голосом. – Укрывшись среди роз… змея…

Тут боль в укушенной руке достигла того предела, которого человеческая природа выдержать не может, сознание его помрачилось, и он без чувств упал на руки Матильды.

Отчаяние ее было неописуемым. Она рвала на себе волосы, била себя в грудь и, не решаясь оставить Амбросио, громкими воплями призывала на помощь. Наконец несколько братьев, встревоженные ее криками, поспешили в сад, и настоятеля перенесли в его келью. Его немедля уложили в постель, и монах-врачеватель приготовился осмотреть укушенную руку. К этому времени она необыкновенно распухла. Его напоили целебными отварами, и к нему вернулась жизнь, но не рассудок. Он тяжко бредил, на его губах клубилась пена, и четверо самых сильных монахов с трудом удерживали его в постели.

Отец Паблос, как звали лекаря, торопливо исследовал укус. Монахи столпились у постели, с тревогой ожидая его приговора. Среди них лже-Росарио более других предавался горю. Он смотрел на страдальца с невыразимой мукой, а вырывавшиеся из его груди стоны выдавали силу обуревавших его чувств.

Отец Паблос углубил ранку. Когда он извлек ланцет, кончик его оказался зеленым. Скорбно покачав головой, отец Паблос отошел от кровати.

– Как я и боялся, – сказал он. – Надежды нет.

– Надежды нет? – в один голос воскликнули монахи. – Ты сказал, что надежды нет?

– Столь быстрое действие яда, решил я, указывает, что аббат был укушен сьентипедоро [5]. Яд, который вы видите на моем ланцете, подтверждает мое подозрение. Он не проживет и трех дней.

– И никакого противоядия нет? – спросил Росарио.

– Он может выздороветь только, если яд будет извлечен, а как его извлечь – для меня тайна. Я могу лишь прикладывать к ране травы, смягчающие боли. Страдалец придет в себя, но яд испортит ему всю кровь, и через три дня его жизнь угаснет.

Этот приговор вверг всех в глубокое горе. Паблос, как обещал, наложил на рану повязку и удалился с остальными монахами. В келье остался один Росарио, заботам которого по его настоянию поручили аббата. Бред и метания совсем истощили силы Амбросио, он погрузился в глубокое забытье и почти не подавал признаков жизни. Когда монахи вернулись узнать, не произошли ли какие-нибудь перемены, они нашли его все в том же положении. Паблос снял повязку более из любопытства, чем в надежде обнаружить благоприятные симптомы. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что воспаление прошло бесследно! Он проверил запястье и извлек ланцет чистым и светлым. Никаких следов яда не обнаружилось, а ранка, оставленная укусом, затянулась без следа. Паблос даже усомнился, была ли она.

Он сообщил все это братьям, и восторг их мог бы сравниться разве что с их удивлением. Однако последнее быстро исчезло, едва они объяснили случившееся на свой лад, окончательно убедившись, что их настоятель – святой, а значит, святой Франциск, как и надо было ожидать, сотворил ради него чудо. К такому выводу пришли все и провозглашали его с таким жаром и громкостью: «Чудо! Чудо!» – что скоро прервали сон Амбросио.

Монахи тотчас столпились у его ложа, выражая радость по поводу его дивного исцеления. Он был в полном рассудке, не чувствовал ни малейшей боли и пожаловался только на чрезвычайную слабость и вялость. Паблос дал ему выпить укрепляющего настоя и посоветовал два дня не вставать с постели. Затем он удалился, объявив, что больной не должен утомлять себя разговорами и ему следует снова заснуть. Остальные монахи последовали за ним, и аббат остался наедине с Росарио вдали от посторонних глаз.

---

[5] Полагают, что сьентипедоро – уроженец Кубы и попал в Испанию с этого острова на корабле Колумба. – Примеч. автора.

Несколько минут Амбросио смотрел на свою сиделку с радостью и тревогой. Она сидела подле его постели, склонив голову и, как всегда, низко опустив на лицо капюшон.

– Так ты еще здесь, Матильда? – сказал наконец монах. – Тебе мало подвергнуть мою жизнь такой опасности, что лишь чудо спасло меня от могилы? О, несомненно Небеса послали эту змею покарать…

Матильда принудила его замолчать, с веселым видом заградив его уста ладонью.

– Т-ш-ш, отче! Т-ш-ш! Тебе нельзя разговаривать.

– Тот, кто наложил этот запрет, не знал, как важны для меня предметы, о которых я хочу говорить.

– Но я знаю. И налагаю тот же запрет. Мне поручено выхаживать тебя, и ты должен исполнять мои распоряжения.

– Ты весела, Матильда!

– И у меня есть на то право. Мне только что была дарована радость, какой я не ведала прежде.

– Какая же?

– Такая, какую я должна скрывать ото всех и особенно – от тебя.

– Особенно от меня? Нет, Матильда, я настаиваю…

– Т-ш-ш, отче! Т-ш-ш! Тебе нельзя разговаривать. Но если сон бежит от тебя, может быть, сыграть тебе на арфе?

– Как? Я не знал, что ты осведомлена и в музыке.

– Ах, я играю дурно. Но тебе велено двое суток хранить молчание, и, может быть, моя музыка развлечет тебя, когда ты устанешь от размышлений. Я схожу за арфой.

Она скоро вернулась с инструментом и спросила:

– Так что же мне спеть тебе, отче? Не хочешь ли послушать балладу о Дурандарте, доблестном рыцаре, который пал в знаменитой Ронсевальской битве?

– Как угодно тебе, Матильда.

– О, не называй меня Матильдой! Называй меня Росарио, называй своим другом! Вот имена, которые мне дороги в твоих устах! Так слушай же!

Она настроила арфу и сыграла небольшую прелюдию с величайшим вкусом, доказывавшим, что она в совершенстве владеет этим инструментом. Мотив был гармоничным и грустным. Слушая, Амбросио ощутил, как рассеивается его тревога, а грудь преисполняется сладкой печалью. Внезапно Матильда заиграла по-другому. Смелым быстрым движением она извлекла из струн воинственные аккорды, а затем запела следующую балладу под простой, но мелодичный аккомпанемент:

Дурандарте и Белерма

Песнь о битве в Ронсевале
Так ужасна, так грустна!
Славны рыцарей, что пали
В том ущелье, имена.

Там и доблести зерцало,
Дурандарте был сражен.
Смерть уста ему сковала,
Но успел промолвить он:

«О Белерма! Семь уж лет я

Преданно тебе служил.
От тебя в ответ семь лет я
Лишь презренье находил.

Ныне же, едва ответный
Я огонь в тебе зажег,
Помешал мечте заветной
Сбыться беспощадный Рок.

В цвете лет, в том честь порука,
Я с улыбкой на устах
Смерть приму, и лишь разлука
С милой мне внушает страх.

Монтесинос, родич милый,
Выслушай, молю, меня,
Заклинаю дружбы силой,
Заклинаю светом дня,

Чуть мой дух покинет тело,
Сердце из моей груди
Извлеки рукою смелой
И к Белерме с ним пойди.

Скажешь ей, мои владенья
В смертный миг я ей отдал,
На нее благословенье
Вздох последний мой призвал.

За нее, скажи ей, верно
Я молитвы возносил,
Да помолится усердно
За того, кто так любил.

Монтесинос, близок час мой,
Дай на грудь твою прилечь.
Чу! Слабею, взор угас мой.
Чу! Я выронил свой меч.

Те, что провожали в битву,
Уж не свидятся со мной,
Родич, сотвори молитву
И глаза мои закрой.

Перестанет сердце биться,
Понапрасну слез не лей,
Не забудь лишь помолиться,
Родич, о душе моей.

Пусть к мольбе твоей Спаситель
Милосердно склонит слух
И в Небесную Обитель
Примет мой смиренный дух».

Встретил смолкнувший в печали
Дурандарте свой конец.
Мавры все возликовали,
Что погиб такой боец.

Горько плача, Монтесинос
Мертвые глаза закрыл,
Горько плача, Монтесинос
Для него могилу рыл.

Выполняя обещанье,
Дурандарте грудь рассек,
Чтоб Белерме дар прощальный
Отвезти, любви залог.

Монтесинос над могилой
В лютой горести стенал:
«Дурандарте, родич милый,
Кто тебе подобных знал?

Чести рыцарской зерцало,
Кроток духом, лев в бою!
Горе сердце истерзало,
Как снести мне смерть твою?

Родич, прах твой схоронивши,
Я останусь слезы лить.
Для чего тебя сразивший
Враг меня оставил жить?»

Амбросио с восхищением внимал ее пенью. Никогда он еще не слышал столь мелодичного голоса и удивлялся, что кроме ангелов кто-то способен изливать сердце в столь небесных звуках. Но, услаждая свой слух, он после единственного взгляда понял, что не должен подвергать такому искушению и зрение. Певица сидела в некотором отдалении от его ложа, склоняясь к арфе с грациозной непринужденностью. Капюшон был надвинут на лицо не так низко, как обычно, и открывал глазу коралловые губки, сочные, свежие, манящие, а также прелестный подбородок, где в ямочках, казалось, притаилась тысяча Купидонов. Длинный рукав ее одеяния задевал бы струны, а потому она завернула его выше локтя, обнажив безупречной красоты руку, нежная кожа которой могла бы поспорить белизною со снегом. Амбросио осмелился взглянуть на нее лишь раз. Но и одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он убедился, сколь опасной была близость этого соблазнительного видения. Он закрыл глаза, но тщетно пытался изгнать образ Матильды из своих мыслей. Она все так же витала перед ним, украшенная всеми прелестями, какие могло измыслить разгоряченное воображение. Красота того, что он уже видел, стократно возрастала, а все скрытое от его взора фантазия рисовала самыми яркими

красками. Но по-прежнему он помнил о своих обетах и необходимости строго следовать им. Он вступил в борьбу с желанием и содрогнулся, узрев, какая перед ним разверзалась бездна.

Матильда умолкла. Страшась ее чар, Амбросио не открыл глаз и только молил святого Франциска укрепить его в этом опасном испытании. Матильда поверила, что он спит. Она встала, тихо подошла к постели и несколько минут безмолвно смотрела на него с пристальным вниманием.

– Он спит! – произнесла она наконец тихим голосом, но аббат ясно различал каждое слово. – Теперь я могу смотреть на него, не возбуждая его неудовольствия. Я могу смешать мое дыхание с его дыханием, могу с обожанием созерцать его черты, и он не заподозрит меня в нечистоте помыслов и в обмане! Он страшится, что я соблазню его нарушить обет! О несправедливец! Будь моей целью пробудить желание, разве я стала бы так старательно прятать от него мое лицо? Лицо, о котором я каждый день слышу от него…

Она умолкла, погрузившись в размышления, а затем продолжала:

– Это случилось только вчера! Лишь несколько коротких часов прошло с той минуты, когда он сказал, что я ему дорога, что он уважает меня, – и мое сердце обрело удовлетворение. Но теперь!.. О, как страшно изменилось мое положение! Он смотрит на меня подозрительно! Он велит мне покинуть его, покинуть навеки! О, ты – мой святой, мой кумир! Ты второй в моем сердце после Бога! Еще два дня, и мое сердце откроется тебе… Можешь ли ты постигнуть чувства, с какими я смотрела на твою агонию? Можешь ли ты понять, насколько дороже сделали тебя мне твои страдания? Но недалек час, когда ты узнаешь, что моя любовь чиста и бескорыстна. Тогда ты пожалеешь меня и почувствуешь всю тяжесть такой печали!

Голос ее прервался от рыданий, и на щеку Амбросио, над которым она склонялась, упала слеза.

– О, я обеспокоила его! – воскликнула Матильда и торопливо отошла.

Тревога ее была напрасной. Крепче всех спят те, кто решает не просыпаться. Монах был именно в этом положении. Он еще изображал глубокий сон, но каждая проходящая минута все больше лишала сон всякой заманчивости. Жгучая слеза обожгла его сердце.

«Какая нежность! Какая чистота! – восклицал он мысленно. – Ах! Если моя грудь так отзывчива на жалость, что было бы, взволнуй ее любовь!»

Матильда вновь встала, но отошла от ложа еще дальше. Амбросио осмелился открыть глаза и боязливо взглянуть на нее. Она стояла спиной к нему. Скорбно положив одну руку на арфу, она созерцала Мадонну, висевшую напротив ложа.

– Счастливое, счастливое изображение! – так обратилась она к прекрасной Мадонне. – К тебе он обращает свои мольбы! На тебя взирает он с восхищением! Я думала, ты облегчишь мои горести, но ты лишь сделала их тяжелее. Ты внушаешь мне мысль, что, узнай я Амбросио, прежде чем он принял постриг, он и счастье могли бы стать моими. С каким упоением смотрит он на тебя! С каким жаром обращает молитвы к бесчувственному холсту! Ах, но вдруг эти чувства пробуждает в нем какой-нибудь тайный и добрый гений, друг моей любви? Но вдруг естественный инстинкт подскажет ему… Прочь пустые надежды! Надо гнать мысль, отнимающую блеск у добродетелей Амбросио. Религия, а не красота будит в нем восхищение, и не перед женщиной, но перед Божественностью преклоняет он колена. О, если бы он обратился ко мне с самым холодным из слов, которые изливает перед своей Мадонной! О, если бы услышать от него, что он, не будь уже обручен с Церковью, не презрел бы Матильды! О, позволь мне питать эту сладкую мысль! Быть может, он еще признает, что чувствует ко мне не просто жалость и что любовь, подобная моей, заслуживает взаимности. Быть может, он скажет это, когда я буду лежать на смертном одре! Тогда ему не надо будет опасаться нарушения обета, а признание в его истинном чувстве утишит смертные муки. Ах, если бы я была уверена в этом! О, как искренне вздыхала бы я о смертном миге!

Из этой речи аббат не упустил ни единого слога, а тон, которым она произнесла последние слова, проник в самое его сердце. И он невольно приподнялся на подушке.

– Матильда! – сказал он взволнованным голосом. – О, моя Матильда!

Она вздрогнула и быстро обернулась к нему. Это внезапное движение сбросило капюшон с ее головы, и ее лицо открылось вопрошающему взгляду монаха. С каким же изумлением он узрел точное подобие своей Мадонны! Те же безупречные черты, та же пышность золотых волос, те же алые губы, небесные глаза и то же величие – вот каким было дивное лицо Матильды. Вскрикнув от удивления, Амбросио вновь упал на подушки, не зная, видит ли он перед собой смертную или небожительницу.

Матильду, казалось, сковало смущение. Она стояла, окаменев, с рукой на арфе. Глаза ее потупились, щеки залил жаркий румянец. Затем она поспешила вновь скрыть лицо под капюшоном и дрожащим испуганным голосом обратилась к монаху так:

– Несчастная случайность сделала тебя обладателем тайны, которую я открыла бы только на ложе смерти. Да, Амбросио, в Матильде де Вильянегас ты видишь оригинал своей возлюбленной Мадонны. Вскоре после того, как мной овладела моя злополучная страсть, я придумала план, как послать тебе свое изображение. Толпы поклонников убедили меня, что я не лишена красоты, и мне не терпелось узнать, какое впечатление она произведет на тебя. Я поручила Мартину Галуппи, знаменитому венецианцу, прибывшему тогда в Мадрид, написать мой портрет. Сходство было поразительным, и я послала его в капуцинский монастырь как бы на продажу – еврей, у которого ты его купил, был моим доверенным. Да, ты купил портрет. Вообрази же мой восторг, когда я узнала, что ты смотрел на него с восхищением, а вернее, с преклонением во взоре; что ты повесил его в своей келье и обращаешь свои молитвы только к нему. Будешь ли ты после этого открытия смотреть на меня с еще большим подозрением? Однако оно должно убедить тебя в чистоте моей любви и не лишать меня твоего присутствия, твоего уважения. Я ежедневно слышала, как ты восхваляешь мой портрет, я видела, в какой экстаз ввергает тебя его красота. Но я не обратила против твоей добродетели это оружие, полученное от тебя же. Я скрывала от твоего взора черты, которые ты бессознательно любил. Я не пыталась пробудить желание своими прелестями или при помощи твоих чувств стать госпожой твоего сердца. Единственной моей целью было привлечь твое внимание усердным исполнением благочестивых обрядов, стать нужной тебе, убедив тебя в добродетельности моих мыслей, в искренности моей привязанности. И я преуспела. Я стала твоей собеседницей и другом. Я скрыла от тебя свой пол, и, если бы не твоя настойчивость в расспросах и не мой страх перед случайным разоблачением, ты продолжал бы знать меня только как Росарио. И ты по-прежнему хочешь прогнать меня? Немногие часы жизни, какие мне еще остаются, ужели я не могу провести рядом с тобой? О, прерви же молчание, Амбросио, и скажи, что я могу остаться!

Эта речь дала аббату время собраться с мыслями. Он понимал, что в нынешнем его расположении духа не отдаться во власть этой пленительной женщины он мог, лишь избегая ее присутствия.

– Твое признание так меня ошеломило, – сказал он, – что пока я не способен ответить тебе. Не настаивай на ответе, Матильда. Оставь меня пока, я должен побыть в одиночестве.

– Я повинуюсь… Но прежде чем я удалюсь, обещай не требовать, чтобы я покинула монастырь теперь же.

– Матильда, подумай о своем положении, подумай, к чему приведет твое пребывание здесь. Наша разлука неизбежна, и мы должны расстаться.

– Но не сегодня, отче! О, сжалься! Только не сегодня!

– Ты слишком настойчива! Но я не могу воспротивиться этому молящему тону. Раз ты так этого желаешь, я уступаю твоей просьбе и даю согласие, чтобы ты осталась здесь на время достаточное, чтобы в какой-то мере подготовить братию к твоему отъезду. Останься еще на

два дня. На третий же… – Он невольно вздохнул. – Помни, на третий мы должны расстаться навсегда!

Она благодарно схватила его руку и прижала к губам.

– На третий? – воскликнула она с мрачной торжественностью. – Ты прав, отче, о, ты прав! На третий мы должны расстаться навсегда.

В ее глазах, когда она произносила эти слова, появилось дикое выражение, пронзившее ужасом душу монаха. А она еще раз поцеловала его руку и выбежала вон.

Амбросио старался подыскать оправдание присутствию своей опасной гостьи, памятуя, насколько оно нарушает устав его ордена, и грудь его превратилась в арену противоборствующих страстей. В конце концов его привязанность к лже-Росарио, подкрепляемая природной его пылкостью, начала брать верх. И победа ей была всецело обеспечена, когда на помощь Матильде пришла самоуверенность, составлявшая основу его характера. Монах рассудил, что преодоление соблазна неизмеримо большая заслуга, чем бегство от него. Он подумал, что ему скорее надо радоваться случаю доказать твердость своей добродетельности. Святой Антоний выдержал все искушения плотской страстью. Почему же он не способен сделать то же? К тому же святого Антония искушал Дьявол, пускавший в ход все ухищрения, лишь бы зажечь в нем греховную страсть. Ему же, Амбросио, угрожает лишь смертная женщина, боязливая, целомудренная, причем мысль, что он уступит соблазну, страшит ее так же, как и его самого.

– Да, – сказал он, – несчастная останется. Мне нечего опасаться ее присутствия. Даже если моя воля окажется слишком слабой перед искушением, невинность Матильды мне щит от всякой опасности.

Амбросио только предстояло узнать, что Порок еще опаснее для незнакомого с ним сердца, когда прячется под личиной Добродетели.

Ему стало настолько легче, что вечером, когда его снова навестил отец Паблос, он попросил разрешения покинуть келью уже на следующий день. И получил его. Вечером Матильда к нему не пришла, но только появилась на минуту вместе с монахами, когда они все пришли справиться о здоровье настоятеля. Казалось, она страшилась разговора наедине с ним и быстро покинула келью. Амбросио спал крепко, но ему привиделось то же, что накануне, а сладострастные ощущения стали сильнее и утонченнее. Те же будящие похоть образы витали перед ним. Матильда во всем блеске красоты, теплая, нежная, обворожительная, прижимала его к груди и расточала ему самые пылкие ласки. Он отвечал тем же и уже готов был удовлетворить свои желания, как вдруг неверный призрак исчез, оставив его всем ужасам стыда и разочарования.

Занялась заря. Усталый, измученный, истомленный своими дразнящими снами, он не захотел встать с постели и не пошел к заутрене. Впервые в жизни он пропустил эту службу. Встал он поздно, и в течение всего дня у него не было случая поговорить с Матильдой без свидетелей. В его келье толпились монахи, желавшие выразить ему свое сочувствие и озабоченность его состоянием. И он все еще выслушивал их поздравления с быстрым исцелением, когда звук колокола позвал их в трапезную.

После обеда монахи разошлись по саду, где древесная сень и укромные уголки предлагали тихий приют для сиесты. Аббат направил свои стопы к гроту отшельника. Взглядом он позвал с собой Матильду. Она повиновалась и без слов последовала за ним. Они вошли в грот и сели. Ни он, ни она, казалось, не решались что-нибудь сказать, охваченные смущением. Наконец аббат прервал молчание, но заговорил он о самых обыденных вещах, Матильда отвечала в том же тоне. Казалось, ей хотелось, чтобы он забыл, что с ним рядом не Росарио. Оба они не осмеливались да и не хотели даже намекнуть на то, что больше всего занимало обоих.

Веселость Матильды выглядела напускной. Ее угнетала какая-то тяжкая тревога, и голос ее звучал тихо и слабо. Казалось, она хотела кончить разговор, который тяготил ее, и, сославшись на нездоровье, попросила у аббата разрешения вернуться к себе. Амбросио проводил ее

до дверей кельи, а там остановил и сказал, что согласен, чтобы она и дальше оставалась товарищем его одиночества, пока ей будет угодно.

Выслушав его, Матильда ничем не выразила радости, хотя накануне добивалась его согласия с такой настойчивостью.

– Увы, отче! – произнесла она, печально покачивая головой. – Твоя доброта опоздала! Мы должны разлучиться навеки. Но верь, я благодарна за твое великодушие, за твое сострадание к несчастной, которая столь мало его заслуживает!

Она прижала платок к глазам. Капюшон прикрывал только половину ее лица, и Амбросио заметил, что она бледна, а глаза у нее запали и стали смутными.

– Боже мой! – вскричал он. – Ты больна, Матильда! Я тотчас пришлю к тебе отца Паблоса.

– Нет. Не надо. Я больна, это правда, но он не сможет вылечить мой недуг. Прощай, отче! Помяни меня завтра в своих молитвах, а я помяну тебя на Небесах!

Она вошла к себе в келью и затворила дверь.

Аббат незамедлительно послал к ней лекаря и с нетерпением ждал его возвращения. Впрочем, отец Паблос вернулся очень скоро и сказал, что ходил напрасно. Росарио отказался впустить его и решительно отверг предложенную помощь. Ответ этот внушил Амбросио немалую тревогу, тем не менее он решил, что до утра Матильду не надо больше тревожить, но, если тогда ей не станет лучше, он настоит, чтобы она посоветовалась с отцом Паблосом.

Ему не спалось. Он открыл свое окошко и взирал, как лунные лучи озаряют ручей, омывающий стены монастыря. Прохладный ночной ветерок и ночное безмолвие вызвали печаль в душе монаха. Он задумался о красоте Матильды, о ее любви, о наслаждениях, которые мог бы делить с ней, не будь он закован в цепи монастырского устава. Ему пришло в голову, что ее любовь к нему, не питаемая надеждой, долго не продлится. Без сомнения, она сумеет погасить свою страсть и попробует найти счастье в объятиях более удачливого смертного. Он содрогнулся при мысли о пустоте, которую разлука с ней оставит в его груди, с отвращением оглянулся на монастырское однообразие и послал вздох миру, от которого был навеки отлучен. От этих размышлений его отвлек громкий стук в дверь. Монастырский колокол уже отбил два часа. Аббат поспешил узнать, что случилось, и отворил дверь кельи. За ней стоял послушник, чей вид говорил о торопливости и смятении.

– Поспешите, святой отец! – сказал он. – Поспешите к Росарио. Он призывает вас к себе. Он умирает!

– Милостивый Боже! Где отец Паблос? Почему он не с ним? Я страшусь! О, я страшусь!

– Отец Паблос был у него, но его искусство бессильно. Он подозревает, что юноша отравился.

– Отравился? О, несчастный! Это я и подозревал. Но нельзя терять ни мгновения. Быть может, еще удастся спасти ее!

С этими словами он поспешил к келье лже-Росарио. Там уже собралось несколько монахов. Одним из них был отец Паблос, державший в руке лекарство, которое пытался дать выпить молодому послушнику. Остальные восхищались божественным ликом больного, впервые не закрытым капюшоном. А Матильда выглядела даже прелестней обычного. Бледность и страдание исчезли. Яркий румянец разлился по ее ланитам, в глазах светилась безмятежная радость, и весь ее вид дышал верой и покорностью судьбе.

– Ах, не мучайте меня больше, – говорила она Паблосу, когда в келью вбежал полный ужаса аббат. – Мой недуг не подвластен вашему искусству, и я не ищу исцеления. – Тут, увидев Амбросио, она вскричала: – Ах, это он! Я свиделся с ним еще раз перед тем, как мы расстанемся навеки! Оставьте нас, братья мои. Мне многое нужно сказать святому человеку наедине.

Монахи тотчас удалились, и аббат с Матильдой остались одни.

– Что ты сделала, неразумная девица! – воскликнул он, едва дверь затворилась. – Скажи, верны ли мои подозрения? И я действительно должен тебя потерять? И твоя собственная рука стала орудием твоей гибели?

Она улыбнулась и сжала его пальцы.

– В чем я была неразумна, отче? Пожертвовала камешком и спасла алмаз. Моя смерть сохраняет жизнь, бесценную для мира и более дорогую мне, чем моя собственная. Да, отче, я отравлена. Но знай, яд этот прежде струился в твоих жилах.

– Матильда!

– Я скажу тебе то, что твердо решила открыть только на смертном одре. И вот эта минута настала. Ты еще не мог забыть дня, когда укус сьентипедоро поставил твою жизнь под угрозу. Врач потерял всякую надежду и объявил, что не знает, как извлечь яд. Одно средство мне было известно, и я без колебаний прибегла к нему. Меня оставили наедине с тобой. Ты спал, я развязала повязку на твоей руке, я поцеловала ранку и высосала яд. Подействовал он быстрее, чем я предполагала. Я ощущаю смерть в сердце. Еще час, и я буду в лучшем мире.

– Боже Всемогущий! – вскричал аббат и упал на постель почти бездыханный.

Через минуту-другую он внезапно поднялся и посмотрел на Матильду с самым диким отчаянием.

– И ты пожертвовала собой ради меня! Ты умираешь – и умираешь, чтобы жил Амбросио! Неужто нет никакого противоядия, Матильда? Нет никакой надежды? О, ответь мне! Скажи, что ты можешь сохранить свою жизнь!

– Утешься, мой единственный друг! Да, я еще могу сохранить свою жизнь. Но с помощью средства, к которому не смею прибегнуть. Оно опасно. Оно страшно! Жизнь будет куплена слишком дорогой ценой… если только мне не будет дозволено жить для тебя…

– Так живи для меня, Матильда, для меня и моей благодарности! – Он схватил ее руку и страстно прижал к губам. – Вспомни последние наши разговоры. Теперь я согласен на все. Вспомни, какими яркими красками ты живописала союз душ. Да осуществим мы его. Забудем разность полов, презрим мирские предрассудки и будем считать себя братьями и друзьями. Живи же, Матильда! О, живи для меня!

– Амбросио, это невозможно! Когда я думала так, я обманывала и тебя и себя. Либо я должна умереть сейчас, или медленно погибнуть в муках неудовлетворенного желания. Ах, с тех пор как мы беседовали в последний раз, с моих глаз спала ужасная повязка. Я люблю тебя не так благоговейно, как любят святого, я более не ценю тебя за достоинства твоей души, я жажду насладиться тобой. Женщина царит в моей груди, и я стала добычей необузданных страстей. Прочь дружба! Холодное, бесчувственное слово! Моя грудь пылает любовью, невыразимой любовью, требующей любови в ответ! Трепещи же, Амбросио, трепещи, что твоя молитва будет услышана. Если я останусь жить, твоя чистота, твоя добрая слава, твоя награда за жизнь, проведенную в страдании, – все, чем ты дорожишь, все будет безвозвратно потеряно. Я буду уже не в силах бороться со своими страстями, буду пользоваться каждым случаем, чтобы воспламенять твои желания и добиваться твоего бесчестия и моего. Нет, нет, Амбросио, я не должна жить! С каждым мгновением я убеждаюсь, что у меня есть только один выбор, с каждым биением сердца я чувствую, что должна насладиться тобой или умереть.

– О удивление!.. Матильда!.. Ты ли это говоришь со мной?

Он сделал движение, словно собираясь встать. И она с пронзительным воплем приподнялась и обняла его, чтоб удержать.

– Нет, не покидай меня! Выслушай с состраданием признание в моих грехах! Через несколько часов меня не станет. Еще немного, и я буду свободна от этой позорной страсти.

– Злосчастная! Что я могу сказать тебе! Я не в силах… я не должен… Но живи, Матильда! О, живи!

– Ты не подумал, о чем ты просишь. Как? Жить, чтобы броситься в пучину порока? Стать орудием Ада? Добиваться погибели и твоей, и моей? Послушай это сердце, отче!

Она взяла его руку. Смущенный, в смятении он, точно завороженный, не отнял руки и почувствовал, как под ладонью бьется ее сердце.

– Ты чувствуешь это сердце, отче? Оно пока еще вместилище чести, правды и целомудрия. Если оно будет биться завтра, то неизбежно станет добычей чернейших преступлений. О, разреши мне умереть сегодня! Дай мне умереть, пока я еще достойна слез добродетельных людей. Вот так хочу я испустить дух! – Она опустила голову ему на плечо, и ее золотые волосы рассыпались по его груди. – В твоих объятиях я погружусь в сон. Твоя рука закроет мне глаза навеки, твои губы примут мой последний вздох. И ведь ты будешь иногда думать обо мне? Прольешь иногда слезу над моей могилой? О да! Да! Да! Этот поцелуй мне порука!

Была глубокая ночь. Вокруг царила тишина. Слабые лучи единственной лампады скользили по телу Матильды, наполняли келью смутным таинственным сиянием. Ни любопытные глаза, ни настороженные уши не мешали любовникам. Слышен был лишь мелодичный голос Матильды. Амбросио был молодым мужчиной в расцвете сил. Он видел перед собой молодую прекрасную женщину, свою спасительницу, обожательницу, кого нежность к нему привела на край могилы. Он сидел на ее постели, его рука покоилась на ее груди, ее голова маняще склонялась на его плечо. Так можно ли удивляться, что он поддался соблазну? Пьяный от желания, он прижался устами к устам, искавшим их. Его поцелуи пылкостью и жаром соперничали с поцелуями Матильды. Он заключил ее в страстные объятия и забыл свои обеты, свою святость и свою славу. В мыслях у него было только наслаждение и возможность предаться ему.

– Амбросио! О, мой Амбросио! – вздохнула Матильда.

– Твой, навеки твой! – прошептал монах и пал на ее грудь.

Глава III

…Это злодеи, убивающие
всех путешественников.
…Между ними есть дворяне —
Слепое буйство юности безумной
Их от людей достойных удалило.

«Два веронца»

Маркиз и Лоренцо шли по улицам молча. Первый припоминал все обстоятельства, которые могли создать у Лоренцо наилучшее мнение о том, что связывало его и Агнесу. Второй, справедливо боясь за фамильную честь, испытывал тягостное смущение. То, чему свидетелем он только что был, воспрещало ему обходиться с маркизом как с другом, но данное Антонии обещание стать ходатаем за нее мешало обойтись с ним как с врагом. Эти размышления привели его к мысли, что разумнее всего будет молчать, в нетерпении ожидая объяснений дона Раймонда. Когда они вошли во дворец де лас Систернас, маркиз тотчас проводил его в свои покои и заговорил о том, как счастлив он, найдя его в Мадриде. Но Лоренцо перебил эти изъявления. – Простите меня, маркиз, – сказал он сурово, – если я с некоторой холодностью отвечу на ваши заверения в дружбе. Речь идет о чести моей сестры. Пока она не будет очищена и цель вашей переписки с Агнесой не станет мне понятна, я не могу считать вас другом. Я с нетерпением жду услышать, что означает ваше поведение, и надеюсь, что вы не станете мешкать с обещанным объяснением.

– Сначала дай слово, что будешь слушать терпеливо и снисходительно.

– Я нежно люблю сестру и не собираюсь судить ее с беспощадностью, а до этого мгновения у меня не было друга столь мне дорогого, как вы. Признаюсь также, что в вашей власти одолжить меня в деле, которое я принимаю близко к сердцу, и потому я всей душой хочу узнать, что вы по-прежнему заслуживаете моего уважения.

– Лоренцо, ты восхищаешь меня! Мне нет большей радости, чем получить возможность услужить брату Агнесы!

– Убедите меня, что честь позволит мне принять вашу услугу, и в мире не найдется человека, которому я столь охотно был бы обязан.

– Быть может, ты слышал, как твоя сестра упоминала имя Альфонсо д'Альварады?

– Нет. Хотя я питаю к Агнесе истинно братскую любовь, обстоятельства надолго нас разлучили. Совсем девочкой ее поручили заботам тетки, бывшей замужем за немецким бароном. В его замке она оставалась до тех пор, пока два года назад не вернулась в Испанию, твердо решив удалиться от мира.

– Боже Великий! Лоренцо, ты знал о ее намерении и не попытался отговорить ее?

– Маркиз, вы ко мне несправедливы. Известие об этом, которое я получил в Неаполе, глубоко меня поразило, и я поспешил в Мадрид, только чтобы помешать ее губительному намерению. В день приезда я кинулся в монастырь святой Клары, куда Агнеса поступила белицей. Я сказал, что хочу увидеть мою сестру. Вообразите же мое изумление, когда она прислала сказать мне, что отказывается меня видеть. Она прямо объявила, что, опасаясь моего на нее влияния, она решится встретиться со мной лишь накануне дня, в который примет постриг. Я умолял монахинь, я требовал свидания с Агнесой и даже высказал подозрение, что ее насильственно от меня прячут. Чтобы очиститься от такого обвинения, настоятельница принесла мне несколько строк, начертанных хорошо мне знакомым почерком моей сестры. Они повторяли то, что мне уже сообщили от ее имени. Все дальнейшие попытки добиться свидания с ней

оказались столь же бесплодными, как и первая. Она оставалась неумолимой, и мне дозволили свидеться с ней лишь за день до того, как она вошла в монастырь, чтобы более никогда его не покидать. Свидание происходило в присутствии наших ближайших родственников. Я увидел ее впервые с тех пор, как она была маленькой девочкой, и встреча наша была очень трогательной. Агнеса бросилась мне в объятия, поцеловала меня и горько расплакалась. Всевозможными доводами, слезами, мольбами я тщился убедить ее отказаться от пострижения. Я упал перед ней на колени, я перечислял все тяготы монастырской жизни, я рисовал ей все радости, от которых она отказывалась, и просил хотя бы открыть мне, что внушило ей такое отвращение к миру. При этом вопросе она побледнела, и ее слезы хлынули с новой силой. Она умоляла меня не настаивать на ответе. Тогда я понял, что ее решение твердо, что только в монастыре можно ей надеяться обрести душевный покой. Она не отступила от своего намерения и постриглась. Я часто навещал ее у решетки, и каждая проведенная с ней минута увеличивала мою горесть от того, что я ее лишился. Затем мне пришлось надолго покинуть Мадрид. Вернулся я лишь вчера вечером и еще не успел побывать в монастыре святой Клары.

– Так, значит, до того, как я упомянул о нем, ты прежде никогда не слышал имени Альфонсо д'Альварады?

– Прошу извинить меня. Тетушка писала мне, что носивший такое имя проходимец нашел средство втереться в замок Линденберг, что он сумел расположить к себе мою сестру и что она даже согласилась бежать с ним. Однако до того, как план этот был приведен в исполнение, кавалер узнал, что поместье на Испаньоле, которое он считал приданым Агнесы, в действительности принадлежит мне, и изменил свое намерение. Он скрылся в тот самый день, когда они собирались бежать, и Агнеса, в отчаянии от его вероломства и алчности, пожелала удалиться в монастырь. Тетушка добавила, что негодяй выдавал себя за моего друга, и осведомилась, знаю ли я такого. Я ответил, что нет. Мне тогда и в голову не приходило, что Альфонсо д'Альварада и маркиз де лас Систернас – одно и то же лицо. Присланное мне описание первого далеко не совпадало с внешностью второго.

– Узнаю коварство доньи Родольфы. Каждое слово здесь дышит ее злобой, ее лживостью, ее умением очернить тех, кому она хочет повредить. Прости меня, Медина, что я позволил себе так отозваться о твоей родственнице. Зло, которое она мне причинила, оправдывает мое негодование, а когда ты выслушаешь мою повесть, то убедишься, что употребленные мной выражения еще слишком мягки.

Затем он начал свой рассказ.

История дона Раймонда, маркиза де лас Систернаса

Долгое знакомство наше, милый Лоренцо, открыло мне все благородство твоей натуры. И я без твоего объяснения знал, что злоключения твоей сестры были преднамеренно скрыты от тебя. Если бы ты был о них осведомлен, скольких бедствий избежали бы Агнеса и я! Судьба судила иначе. Ты путешествовал, когда я познакомился с твоей сестрой, а так как наши враги скрывали от нее, где ты странствуешь, она не могла написать тебе, прося защиты и совета.

Покинув Саламанку, где ты, как мне стало ведомо позднее, провел еще год после моего отъезда, я незамедлительно отправился путешествовать. Мой отец щедро снабдил меня деньгами. Однако он настоял, чтобы я скрыл свой ранг и представлялся простым дворянином. Так ему посоветовал его друг, герцог Вилья-Хермоса, гранд, которого я весьма почитал за его великие достоинства и знание света.

– Поверь, дорогой Раймонд, – сказал он, – ты не раз убедишься в пользе временного отказа от титула. Разумеется, как графа де лас Систернаса тебя всюду принимали бы с распростертыми объятиями, и юное твое тщеславие ублаготворялось бы лестными знаками внимания, которыми тебя окружали бы. Теперь же многое зависит от тебя самого. Ты везешь пре-

восходные рекомендательные письма, но сам должен будешь найти, как обратить их себе на пользу. Ты должен будешь стараться произвести благоприятное впечатление, прилагать усилия, чтобы понравиться тем, к кому ты явишься. Те, кто не замедлил бы искать дружбы графа де лас Систернаса, не станут гадать о достоинствах или терпеливо сносить недостатки Альфонсо д'Альварады. А потому если ты встретишь дружбу и расположение, то сможешь смело приписать их собственным благородным качествам, а не обаянию своего титула, и такие знаки отличия будут несравненно более лестными. К тому же твое высокое рождение не позволило бы тебе сходиться с людьми низкого звания, но теперь такие знакомства тебе открыты, а из них, по моему мнению, ты извлечешь немалую пользу. Не ограничивайся лишь знатью тех стран, которые будешь посещать. Познакомься с нравами и обычаями простонародья. Посещай хижины и, посмотрев, как обращаются с крестьянами в чужих краях, научись облегчать бремя своих и увеличивать их благоденствие. По моему мнению, среди преимуществ, которые юноша, предназначенный обладать властью и богатством, может извлечь из путешествий, отнюдь не последним является возможность близко познакомиться с низшими сословиями и своими глазами увидеть страдания простых людей.

Прости, Лоренцо, если мой рассказ кажется тебе долгим и утомительным. Существующая между нами теперь тесная связь внушает мне желание открыться тебе во всем, и, опасаясь упустить хоть малейшую подробность, которая может способствовать тому, чтобы ты не подумал дурно о своей сестре и обо мне, я, вероятно, сообщу и много такого, что ты сочтешь неинтересным.

Последовав совету герцога, я вскоре убедился в его мудрости. Назвавшись вымышленным именем, Испанию я покинул как дон Альфонсо д'Альварада в сопровождении лишь одного верного слуги. Первой моей целью был Париж. Вначале он меня совершенно очаровал, как не может не очаровать всякого молодого богатого человека, любящего удовольствия. Однако в вихре веселья я замечал какую-то пустоту в сердце. Мне приелись буйные развлечения. Я обнаружил, что люди, среди которых я жил, столь учтивые и обходительные, на самом деле легкомысленны, бесчувственны и неискренни. Я с отвращением отвернулся от парижан и без вздоха сожаления покинул эту обитель роскоши.

Теперь путь мой лежал в Германию, где я намеревался посетить все главные дворы, но прежде предполагал пожить некоторое время в Страсбурге. Выйдя из экипажа в Люневилле, чтобы перекусить в гостинице, я заметил у дверей «Серебряного льва» великолепную карету с четырьмя слугами в пышных ливреях. Вскоре, посмотрев случайно в окно, я увидел, как в карету села дама величественной наружности в сопровождении четырех прислужниц. Карета тотчас уехала, а я осведомился у хозяина, кто эта дама.

– Немецкая баронесса, мосье, очень знатная и богатая. От ее слуг я узнал, что она навещала здесь герцогиню де Лонгвилль. Сейчас она направляется в Страсбург, где встретится с супругом, и они вместе вернутся в свой замок в Германии.

Я отправился дальше, намереваясь в тот же вечер уже быть в Страсбурге. Однако поломка экипажа воспрепятствовала этому. Сломался он на полпути через густой лес, и я оказался в немалом затруднении. Была середина зимы, уже смеркалось, а до Страсбурга, ближайшего оттуда города, оставалось еще несколько лиг. Я решил, что должен либо провести ночь в лесу, либо взять лошадь моего слуги и добраться до Страсбурга верхом – прогулка в такое время года не слишком приятная. Однако иного выхода не было, и я сообщил о своем намерении наемному кучеру, обещав тотчас прислать помощь из Страсбурга. Его честность не внушала мне особого доверия, но он был в годах, а Стефано хорошо вооружен, и я не думал, что должен опасаться за свой багаж.

К счастью, как показалось мне тогда, тут же выяснилось, что ночь можно провести гораздо удобнее, чем я полагал. Едва услышав, что я намерен отправиться в Страсбург, кучер покачал головой.

– До Страсбурга далеко, – сказал он, – а без проводника вы и с дороги можете сбиться. К тому же мосье как будто не привык к суровым зимам и может не выдержать холода…

– К чему эти возражения? – нетерпеливо перебил я. – Что еще мне остается делать? А проведя ночь в лесу, я скорее погибну от холода.

– Проведя ночь в лесу? – повторил он. – Святой Денис! Мы еще не в столь отчаянном положении. Коли не ошибаюсь, отсюда совсем близко до хижины моего старинного друга Батиста, дровосека и честного малого. Он будет рад приютить вас на ночь, а я тем временем поскачу в Страсбург и на заре вернусь с каретником и его подручными.

– Во имя всего святого! – воскликнул я. – Что же ты раньше не сказал? Почему не объяснил про хижину? Какая глупость!

– Я думал, может, мосье побрезгует…

– Вздор! Ну, довольно болтовни! Проводи нас не мешкая к дровосеку.

Он послушался, и мы двинулись вперед. Лошади с трудом тащили за нами разбитый экипаж. Мой слуга уже совсем онемел от холода, да и меня мороз пробирал до костей, когда мы наконец добрались до желанной хижины. Она была невелика, но построена крепко, и я с радостью увидел в окошке жаркое пылание огня. Наш проводник постучал в дверь. Никто не откликнулся. Без сомнения, обитатели хижины не знали, впускать ли нас.

– Э-эй! Э-эй, друг Батист! – нетерпеливо крикнул кучер. – Чего мешкаешь? Или ты спишь? Или хочешь отказать в ночлеге благородному путешественнику, чей экипаж сломался в лесу?

– А! Так это ты, честный Клод? – донесся изнутри мужской голос. – Погоди минуту, сейчас отворю.

Вскоре засовы были отодвинуты, дверь распахнулась и пред нами предстал мужчина с фонарем в руке. Он радостно поздоровался с кучером, а затем обратился ко мне:

– Добро пожаловать, мосье! Входите, входите! Простите, что не сразу пустил вас. Но в округе столько всякого темного люда, что, вы уж извините, я было принял вас за разбойников.

С этими словами он ввел нас в комнату, где я видел огонь. Меня тотчас усадили в кресло у очага. Женщина, жена хозяина, как я подумал, встала при моем появлении, холодно сделала мне небрежный реверанс, а затем снова села и взяла отложенное рукоделие. Насколько приветлив был ее муж, настолько недружелюбно и грубо держалась она.

– Желал бы я предложить вам что-нибудь поудобнее, мосье, но наша лачуга тесновата. Однако комнатка для вас и другая для вашего слуги у нас найдется. Вам придется довольствоваться простой пищей, но предложат ее вам, поверьте, со всем радушием. – Он повернулся к жене. – Что это, Маргарита, ты сидишь тут, будто у тебя никакого дела нет! Пошевеливайся, матушка! Пошевеливайся! Собери на стол, постели чистые простыни. Э-эй! Подбрось-ка поленьев в огонь! Господин, видно, совсем замерз.

Жена поспешно положила рукоделие на стол, но начала выполнять его распоряжения с видимой неохотой. Лицо ее мне не понравилось с первого взгляда. Однако черты ее были, бесспорно, красивыми. Но кожа выглядела землистой, а сама она – худой и изможденной. Лицо ее, полное угрюмости, выражало такую злобу и недоброжелательность, что их заметил бы и самый ненаблюдательный человек. Каждый ее взгляд, каждое движение выражали недовольство и досаду, а когда Батист добродушно пенял ей за насупленный вид, она отвечала коротко, резко и ядовито. Короче говоря, я сразу же проникся к ней неприязнью, не уступавшей по силе расположению, которое вызвал у меня ее муж, чья внешность внушала уважение и доверие. Лицо у него было открытое, искреннее, дружелюбное, манера держаться казалась простецкой, как у поселянина, но без крестьянской неотесанности. Щеки у него были круглыми и румяными, а дородство фигуры с избытком возмещало худобу его жены. По морщинам на лбу его я дал ему шестьдесят лет, но он выглядел не по возрасту крепким и здоровым. Жене не могло быть многим больше тридцати, но она казалась даже старше своего бодрого и деятельного супруга.

Пусть с неохотой, но Маргарита все-таки начала готовить ужин, а дровосек весело поддерживал разговор о том о сем. Кучер, запасшийся бутылкой с крепким зельем, готов был отправиться в Страсбург и спросил, нет ли у меня еще распоряжений.

– В Страсбург? – перебил Батист. – Куда это ты на ночь глядя?

– Так-то так, но коли я не вернусь с каретником, как мосье поедет дальше?

– Верно, верно! Про экипаж-то я и позабыл. Да только, Клод, чего бы тебе не поужинать тут? Времени потратишь немного, а у мосье лицо доброе, не пошлет же он тебя на пустой желудок ехать по такому холодищу.

Я охотно дал свое согласие, заверив кучера, что, приеду я завтра в Страсбург на час-другой раньше или позже, важность невелика. Он поблагодарил меня и вышел из хижины со Стефано, чтобы поставить лошадь в большой сарай. Батист проводил их до дверей и с тревогой посмотрел наружу.

– Ветер-то, ветер! – сказал он. – Что-то мои парни задержались. Мосье, я вам покажу двух таких молодцов, что, право, загляденье. Старшему двадцать три, а младший на год моложе. В пятидесяти милях вокруг Страсбурга не сыскать двух таких разумных, смелых и усердных ребят. Скорей бы они вернулись! Что-то на душе у меня тревожно.

Маргарита в эту минуту застилала стол скатертью.

– Вы тоже тревожитесь за своих сыновей? – спросил я у нее.

– Нет, – ответила она с досадой. – Они мне не сыновья.

– Ну-ну, Маргарита, – сказал муж. – Не огрызайся на господина за простой вопрос. И не хмурься ты так, он бы заметил, что двадцатитрехлетнего сына у тебя быть не может! Вот видишь, как тебя старит дурной характер! Вы уж извините грубость моей хозяйки, мосье. Она по всякому пустяку из себя выходит, ну и надулась, что вы ей столько лет дали, хотя она еще и до тридцати не дожила. Так ведь, Маргарита, а? Вы же знаете, мосье, как все женщины молодятся. Ну-ну, Маргарита, улыбнись! Не сейчас, так через двадцать лет будут и у тебя сыновья в таком возрасте, и, надеюсь, выйдут из них молодцы не хуже Жака и Робера.

Маргарита с отчаянием сжала руки.

– Господи избави! – сказала она. – Господи избави! Да поверь я в это, так задушила бы их сразу своими руками!

Она торопливо вышла за дверь и поднялась по лестнице на второй этаж.

Я не удержался и вслух посочувствовал дровосеку, что, мол, всю жизнь ему придется проводить с такой сварливой женой.

– Господь с вами, мосье! У каждого есть свой крест, а у меня так Маргарита. Да к тому же она только сердится легко, а характер у нее не злой. Худо только, что из любви к двум своим детям от первого мужа она моим молодцам злая мачеха. Видеть их не может и, будь ее воля, давно бы выгнала их из дома. Но уж тут я ей даю отпор и никогда не отправлю бедных ребят бродить в поисках пропитания по свету, как она меня ни уговаривай! В чем другом я ей всегда уступлю, да и хозяйка она на редкость домовитая, этого у нее не отнимешь.

Мы продолжали беседовать, но вскоре нас перебил громкий окрик, который разнесся по всему лесу.

– Никак мои сынки! – воскликнул дровосек и побежал отворить дверь.

Окрик повторился. Теперь мы различили лошадиный топот, и минуту спустя к двери хижины подъехала карета в сопровождении нескольких всадников. Один из них осведомился, далеко ли до Страсбурга. Обращался он ко мне, и я назвал расстояние, о котором говорил Клод. Тут раздался залп проклятий по адресу кучеров, не знающих дороги, после чего сидящим в карете было доложено, что до Страсбурга еще далеко, а лошади так устали, что еле ноги передвигают. Дама, которая, видимо, всем распоряжалась, выразила глубокое огорчение. Но делать было нечего, и слуга спросил дровосека, сможет ли он предоставить им ночлег.

Батист, видимо, смутился и ответил, что никак не может, добавив, что единственные две свободные комнаты уже отданы испанскому дворянину и его слуге. Когда я это услышал, наша испанская галантность не позволила мне оставить за собой то, в чем нуждалась женщина. Я тотчас сказал дровосеку, что уступаю свою комнату даме. Он начал было возражать, но я отверг все его доводы, поспешил к карете, отворил дверцу и помог даме выйти, немедленно узнав в ней особу, которую видел из окна гостиницы в Люневилле. Выбрав удобную минуту, я осведомился у одного из слуг, кто она.

– Баронесса Линденберг, – последовал ответ.

Я не мог не заметить, что хозяин принял этих гостей совсем иначе, чем меня. Его нежелание видеть их под своим кровом было ясно написано на его физиономии, и он лишь с трудом заставил себя сказать даме «добро пожаловать». Я проводил ее в дом и усадил в кресло, которое только что покинул. Она поблагодарила меня весьма любезно и рассыпалась в извинениях, что лишает меня комнаты. Внезапно лицо дровосека прояснилось.

– Наконец-то сообразил! – сказал он, перебивая ее извинения. – Я могу устроить вас и вашу свиту, сударыня, причем так, что вам не придется стеснять этого господина за его учтивость. Одну из свободных комнат займет благородная дама, мосье, а вторую вы. Моя жена уступит свою двум служанкам, ну, а слуги переночуют в амбаре в нескольких шагах от дома. Там можно затопить печь, и они поужинают, чем Бог послал.

Дама изъявила благодарность, я было воспротивился тому, чтобы Маргарита лишилась своей комнаты, но в конце концов все так и устроилось. В комнате, где мы находились, было тесно, и баронесса тотчас отпустила своих слуг. Батист уже собрался проводить их в амбар, как в дверях хижины появились два молодых человека.

– Ад и Дьявол! – вскричал один из них, попятившись. – Робер, в доме полно чужих!

– А вот и мои сынки! – воскликнул хозяин. – Жак! Робер! Куда это вы, ребятки? Места и на вас хватит.

Услышав это заверение, молодые люди вернулись. Отец представил их баронессе и мне, а затем увел наших слуг, Маргарита же проводила обеих служанок по их просьбе в комнату, отведенную их госпоже.

Молодые люди были крепкими, высокими, широкоплечими, с грубыми лицами и загорелые дочерна. Они поздоровались с нами коротко, но вошедшего в комнату Клода приветствовали как старого знакомого. Потом они сбросили плащи, в которые кутались, сняли кожаные пояса с кинжалами, а потом вытащили из-за кушака пистолеты и положили их на полки.

– Вы хорошо вооружаетесь в дорогу, – заметил я.

– Верно, мосье, – ответил Робер. – Из Страсбурга мы выехали вечером, а в этом лесу после темноты надо ухо держать востро. Слава о нем идет дурная, можете мне поверить.

– Почему? – спросила баронесса. – Разве в окрестностях есть разбойники?

– Поговаривают, что так, сударыня. Только я, сколько ни ездил по лесу и днем и ночью, ни с одним не повстречался.

Тут вернулась Маргарита, пасынки отвели ее в дальний угол и несколько минут шептались с ней о чем-то. Судя по взглядам, которые они на нас бросали, я решил, что они расспрашивают ее, зачем мы тут.

Баронесса тем временем посетовала, что ее супруг будет очень о ней тревожиться. Она намеревалась послать к нему слугу с известием, что ей пришлось задержаться до утра, но после слов Робера не знала, как поступить.

Из затруднения ее вывел Клод. Он сообщил ей, что сейчас же отправляется в Страсбург – так коли она даст ему письмо, оно будет незамедлительно доставлено барону, он ручается.

– Как же ты не боишься повстречаться с разбойниками? – спросил я.

– Увы, мосье! Бедному человеку с большой семьей не след отказываться от выгодного поручения потому лишь, что он за свою шкуру опасается. Может, господин барон пожалует мне

что-нибудь за мои труды. Да к тому же взять у меня, кроме жизни, нечего, а она разбойникам ни к чему.

Я счел его доводы слабыми и посоветовал ему дождаться утра. Однако баронесса меня не поддержала, и я вынужден был умолкнуть. Как позже я узнал, баронесса Линденберг имела привычку пренебрегать чужими интересами ради своих, и желание послать Клода в Страсбург заставило ее забыть про грозившую ему опасность. Было решено, что он пустится в путь сейчас же. Баронесса написала супругу, а я черкнул несколько строк моему банкиру, оповещая его, что буду в Страсбурге только на следующий день. Клод забрал наши послания и покинул хижину.

Баронесса пожаловалась на усталость: не только она проехала большой путь, но кучер то и дело сбивался с дороги в лесу. Она попросила Маргариту проводить ее в отведенную ей комнату, чтобы полчаса отдохнуть. Немедленно позвали одну из служанок, она явилась со свечой, и баронесса поднялась следом за ней по лестнице.

В комнате, где я находился, начали накрывать на стол, и Маргарита дала мне понять, что я ей мешаю. Намеки ее были такими прозрачными, что я попросил ее пасынков показать мне мою комнату и выразил желание подождать ужина там.

– Какая это комната, матушка? – спросил Робер.

– Та, где занавески зеленые, – ответила она. – Я только сейчас кончила ее прибирать и постелила свежие простыни. Если господину хочется поваляться на кровати, пусть сам ее перестилает, а я не стану.

– Сегодня, матушка, ты что-то очень сердита, хоть нам это и не внове. Я провожу вас, мосье.

Он открыл дверь и направился к узкой лестнице.

– Что же ты без свечи? – спросила Маргарита. – Себе хочешь шею сломать или господину?

Она прошла мимо меня и сунула горящую свечу в руку Робера, и он начал подниматься по ступенькам. Жак спиной ко мне расстилал скатерть на столе. Маргарита выбрала эту минуту, когда на нас никто не смотрел, чтобы схватить меня за руку и сильно ее сжать.

– На простыни поглядите! – шепнула она, прошла мимо меня назад к столу и опять занялась ужином.

Растерявшись от ее нежданной выходки, я стоял как окаменелый, пока меня не окликнул Робер. Я поднялся следом за ним, и он распахнул передо мной дверь комнаты, где в очаге весело пылали поленья. Поставив свечу на стол, он осведомился, не нужно ли мне чего-нибудь еще, а когда я ответил отрицательно, удалился. Едва оставшись один, я, как ты можешь легко себе представить, тотчас последовал настоянию Маргариты – взял свечу, быстро подошел к кровати и откинул одеяло. Каковы же были мое изумление, мой ужас, когда я увидел, что простыни все в крови!

Мысли вихрем закружились в моем мозгу. Разбойники, грабящие в этом лесу, восклицание Маргариты, касавшееся ее детей, оружие и внешность сыновей хозяина, а также бесчисленные рассказы, которые мне доводилось слушать, о том, как наемные кучера сговариваются с бандитами, – все это разом припомнилось мне, ввергнув меня в страх и растерянность. Я начал обдумывать, как убедиться наверное, и тут услышал, что внизу кто-то быстро расхаживает взад и вперед. Теперь малейший пустяк казался мне подозрительным, я тихо подошел к окну, которое, несмотря на холод, было открыто, чтобы проветрить комнату, и осмелился выглянуть наружу. В лучах луны я различил фигуру мужчины и без труда узнал в нем нашего хозяина. Я начал следить за ним. Он быстро прошел несколько шагов, потом остановился и прислушался. Он притопывал, хлопал себя кулаками по бокам, точно стараясь согреться. Но при каждом самом тихом звуке – доносился ли голос из нижней комнаты, пролетала ли над ним

летучая мышь или ветер шуршал безлистыми ветками – он вздрагивал и с тревогой осматривался по сторонам.

– Чума на него! – буркнул он. – Где его черти носят?

Произнес он свое проклятие вполголоса, но прямо у меня под окном, так что я хорошо расслышал каждое слово.

Тут послышались приближающиеся шаги. Батист пошел в ту сторону и встретил невысокого человека с рожком на груди – моего верного Клода, которого я полагал на пути в Страсбург. Думая, что разговор их поможет мне разобраться во всем, я поспешил принять меры, чтобы остаться незамеченным, и задул свечу, стоявшую на столике у кровати. Огонь в очаге отбрасывал мало света и не мог меня выдать. Я торопливо вернулся к окну.

Оба они стояли прямо под ним. Видимо, за время моего краткого отсутствия дровосек попрекнул Клода, что он так замешкался, – во всяком случае тот оправдывался.

– Ну, теперь, – добавил он, – мое усердие искупит эту задержку.

– В таком случае, – сказал Батист, – я тебя охотно прощу. А впрочем, добычу-то мы делим поровну, так торопиться тебе следует для себя же. Жаль было бы упустить такой жирный кусок! Ты говоришь, что этот испанец богат?

– Его слуга хвастал в гостинице, что вещи в его коляске стоят побольше двух тысяч пистолей.

Ах, какие проклятия я обрушил на Стефано за это опрометчивое бахвальство!

– И мне сказали, – продолжал кучер, – что баронесса везет с собой шкатулку с драгоценностями несметной цены!

– Может, и так, но лучше бы она сюда не сворачивала. Испанец был верной добычей. Мальчики и я легко справились бы с ним и его слугой, и две тысячи пистолей мы поделили бы между нами четверыми. А теперь придется взять в долю всю шайку, да к тому же они еще могут ускользнуть из наших рук. Если наши друзья разойдутся по своим дозорным постам прежде, чем ты доберешься до пещеры, все будет потеряно. У баронессы слишком много слуг, нам с ними не справиться. Если наши товарищи не подоспеют вовремя, придется нам завтра отпустить всех этих путешественников целыми и невредимыми.

– Такая неудача, что баронессу вез кучер, который ничего про наш договор не знает! Ну да не бойся, брат Батист. Через час я доберусь до пещеры. Сейчас всего десять, так что к полуночи жди шайку. Да только последи за своей хозяйкой. Ты же знаешь, как ей не по нутру наша жизнь. А вдруг она найдет способ предупредить слуг баронессы!

– А! Она будет помалкивать. Меня до смерти боится, а своих детей любит крепко, вот и не посмеет нас выдать. К тому же Жак и Робер глаз с нее не спускают, а за дверь ей и шагу ступить не дозволяется. Слуги выдворены в амбар, и уж я постараюсь, чтобы до прибытия наших друзей тут все было спокойно. Знай я, что ты их непременно разыщешь, так тех, кто в доме, теперь же отправил бы на тот свет. Но только опасаюсь, что ты бандитов не найдешь, а утром слуги хватятся своих господ.

– А коли он или она догадаются о твоих замыслах?

– Ну, тогда придется прирезать тех, кто в доме, и попробовать прикончить остальных. Однако, чем про это толковать, ты бы поторопился в пещеру. До одиннадцати бандиты из нее никогда не уходят, и ты, коли поторопишься, еще успеешь их перехватить.

– Скажи Роберу, что я возьму его лошадь. Моя оборвала уздечку и сбежала в лес. Пароль-то какой?

– Награда за храбрость.

– Запомнил. Ну, так я скачу в пещеру.

– А я пойду к моим гостям, не то как бы они чего не заподозрили. Доброго пути. Да поторапливайся!

Достойные друзья разошлись – один побежал к конюшне, а другой вернулся в дом.

Ты можешь вообразить, что я чувствовал во время этого разговора, из которого не упустил ни слова. Мысли у меня мешались, я не видел никакого способа избегнуть опасности. Я понимал, что сопротивление окажется тщетным: ведь я один и не вооружен, а их – трое. Тем не менее я твердо решил продать свою жизнь как можно дороже. Страшась, что Батист заметит мое отсутствие и сообразит, что мне удалось услышать, с каким поручением он отправил Клода, я поспешил вновь зажечь свечу и спустился вниз. Я увидел стол, накрытый на шестерых. Баронесса сидела у огня, Маргарита смешивала салат, а ее пасынки шептались в дальнем углу комнаты. Батист, которому надо было обойти вокруг дома, еще не вернулся. Я молча сел напротив баронессы.

Взгляд, брошенный на Маргариту, сказал ей, что ее предупреждение не пропало втуне. Теперь она мне показалась совсем иной! То, что прежде выглядело угрюмостью и сварливостью, на самом деле было ненавистью к мужу с пасынками и состраданием ко мне. Я видел в ней теперь единственную мою опору, но, зная, как подозрительно следит за ней муж, не мог надеяться на ее помощь.

Как я ни старался, мне не удалось скрыть мое волнение. Оно ясно отражалось на моем лице. Я побледнел, слова и движения у меня стали неуверенными, смущенными. Молодые люди заметили это и осведомились о причине. Я сослался на утомление и непривычку к зимним холодам. Поверили они мне или нет, не знаю, но хотя бы перестали задавать мне вопросы. Я попытался отвлечься от нависшей надо мной угрозы и завел разговор с баронессой о том о сем. Заговорил о Германии, сообщил, что направляюсь туда… Бог знает, сколь мало я в ту минуту надеялся побывать там! Она отвечала мне с величайшей непринужденностью и любезностью, объявила, что знакомство со мной более чем вознаградило ее за эту задержку, и с настойчивостью пригласила меня непременно погостить в замке Линденберг. При этих словах молодые люди обменялись злобной улыбкой, говорившей, что судьба ей очень ворожит, если она и сама когда-нибудь вернется в замок. Я заметил эту улыбку, но сумел скрыть чувство, которое она пробудила в моей груди, и продолжал беседовать с баронессой, но так часто заговаривался, что – как эта дама сказала мне впоследствии – у нее возникло подозрение, в своем ли я уме. Но ведь говорил я об одном, а мысли мои были всецело заняты другим. Я размышлял, как мне выскользнуть из хижины, пробраться в амбар и сообщить слугам о намерениях нашего гостеприимного хозяина. Однако вскоре я убедился, что попытка моя оказалась бы тщетной. Жак и Робер следили за каждым моим движением, и мне пришлось отбросить этот план. Оставалось только надеяться, что Клод не разыщет бандитов. Ведь тогда, если верить тому, что я услышал, нам позволят продолжить путь без всяких помех.

Когда вошел Батист, я невольно содрогнулся. Он рассыпался в извинениях за свое долгое отсутствие, но «его задержали дела, которые невозможно было отложить». Затем он стал испрашивать нашего разрешения ему и его семье поужинать за одним столом с нами, дескать, иначе почтение не дозволит им подобной вольности. О, как я в душе проклинал лицемера! Как тягостно мне было присутствие того, кто намеревался лишить меня жизни, в то время бесконечно мне дорогой! У меня ведь были все основания ею дорожить – юность, богатство, знатность, образование и блистательное будущее. И вот это будущее у меня намеревались отнять самым подлым образом. А я должен был притворяться и с подобием благодарности принимать лживые заверения того, кто прижимал кинжал к моей груди.

Разрешение, которого искал наш хозяин, было немедленно ему дано, и мы сели за стол. Я и баронесса с одной стороны, сыновья напротив нас, спиной к двери, Батист во главе стола рядом с баронессой, а по другую его руку стоял прибор его жены. Она вскоре вошла в комнату и поставила на стол блюда с простыми, но сытными крестьянскими кушаньями. Наш хозяин тотчас счел необходимым извиниться за скромность ужина: он ведь не был предупрежден о нашем приезде и может предложить нам лишь еду, готовившуюся для его семьи.

– Но, – добавил он, – если случай задержит моих благородных гостей у нас дольше, нежели они намеревались, я надеюсь, что сумею угостить их получше.

Злодей! Я отлично понял, на какой случай он намекает, и содрогнулся при мысли об уготованном нам угощении.

Баронесса же, не ведая о грозящей нам опасности, как будто совсем перестала огорчаться из-за того, что ей пришлось прервать свой путь. Она смеялась и с величайшей веселостью беседовала с хозяином и его сыновьями. Я тщетно пытался следовать ее примеру. Моя веселость была столь вымученной, что мои усилия не укрылись от наблюдательности Батиста.

– Ну, ну, мосье, подбодритесь! – сказал он. – Видно, вы еще не совсем оправились от усталости. Ну, да я знаю средство разогнать ваше уныние! Что вы скажете о стаканчике превосходного старого вина, доставшегося мне еще от покойного родителя моего? Господи, упокой его душу в селениях праведных! Я редко угощаю этим вином. Но ведь такие гости не каждый день оказывают честь моему дому, и ради подобного случая как не распечатать бутылочку!

Тут он дал своей жене ключ и растолковал ей, где стоит вино, про которое он говорил. Ей это поручение пришлось не по вкусу: ключ она взяла с расстроенным видом и не торопилась встать из-за стола.

– Ты меня слышала? – сердитым голосом спросил Батист.

Маргарита бросила на него взгляд, в котором страх мешался с гневом, и вышла из комнаты. Муж подозрительно смотрел ей вслед, пока за ней не затворилась дверь.

Вскоре она вернулась с бутылкой, запечатанной желтым воском, поставила ее на стол и возвратила ключ мужу. Я не сомневался, что вином этим нас потчуют не просто так, и с беспокойством наблюдал каждое движение Маргариты. Она ополаскивала небольшие роговые кубки и, ставя их перед мужем, заметила мой взгляд. Улучив мгновение, когда внимание бандитов было от нее отвлечено, она покачала головой в знак, чтобы я не пригубливал этого напитка, а затем села на свое место.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.